

МУДРЕЦЫ И ПРОРОКИ



ПРИТЧИ
и
СКАЗКИ
РУССКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ



ОГИЗ

Мудрецы и пророки

Коллектив авторов

**Притчи и сказки
русских писателей**

«Издательство АСТ»

2019

УДК 398
ББК 82.3(0)

Коллектив авторов

Притчи и сказки русских писателей / Коллектив авторов —
«Издательство АСТ», 2019 — (Мудрецы и пророки)

ISBN 978-5-17-103304-0

Факт малоизвестный, но между тем, помимо литераторов, притчи и сказки писали историки. Например, Карамзин, Ключевский и Костомаров крайне искусно пользовались Ветхозаветной стилистикой для изложения нравоучительных историй, которые мы сегодня называем притчами. В настоящее издание вошли притчи и сказки русских писателей от вышеупомянутого Николая Карамзина и ныне изрядно подзабытого Ивана Киреевского до писателей серебряного века Алексея Ремизова и Александра Куприна. Редакция не без оснований полагает, что читателей этой книги ждут открытия и философского свойства, и мистические, и нравственные.

УДК 398
ББК 82.3(0)

ISBN 978-5-17-103304-0

© Коллектив авторов, 2019
© Издательство АСТ, 2019

Содержание

Сказание о походе и храбрости, от молодости и до старости его бытия, молодого юноши и прекрасного русского богатыря, зело послушати дивно, Еруслана Лазаревича	6
Н. М. Карамзин. Прекрасная царевна и счастливый карла	22
К. Н. Батюшков. Предслава и Добрыня	28
И. В. Киреевский. Опал	36
О. М. Сомов. Сказка о Никите Вдовиниче	43
В. И. Даль. Сказка о Иване Молодом Сержанте, Удалой Голове, без роду, без племени, спроста без прозвища	51
Конец ознакомительного фрагмента.	54

Притчи и сказки русских писателей

© Оформление. ООО «Издательство АСТ», 2019

Сказание о походе и храбрости, от младости и до старости его бытия, молодого юноши и прекрасного русского богатыря, зело послушати дивно, Еруслана Лазаревича

Бысть во царстве царя Картауса Картаусовича дядюшка его, князь Лазарь Лазаревич, а жена у него Епистимия, а сына родила Еруслана Лазаревича.

И как буде Еруслан Лазаревич четырех лет по пятому году, и стал ходить на царев двор и шутить шутки не гораздо добрые: кого хватит за руку – у того рука прочь, кого хватит за голову – у того голова прочь, кого хватит за ногу – у того нога прочь. И тут промеж себя князи, и бояре, и сильные гости учали совет сотворяти: «Пойдем мы бити челом к царю Картаусу Картаусовичу и речем ему: «Есть у тебя, царь, дядюшка – князь Лазарь Лазаревич, а у него сын Еруслан Лазаревич, и ходит он к царю на двор, и шутит шутки с нашими детьми не гораздо добрые: кого хватит за голову – у того голова прочь, кого хватит за ногу – у того и нога прочь»». [Как решили, так и сотворили.]

И [тогда] возговорит царь Картаус ко своему дядюшке:

– Гой еси, дядюшка Лазарь Лазаревич! Есть у тебя сын Еруслан Лазаревич, и он ходит ко царю на двор, и шутит шутки не гораздо добрые, и сын твой во царстве ненадобен, лучше его вон выслать из царства.

[Так] князь Лазарь Лазаревич услышал от царя Картауса Картаусовича себе слово кручинное, поехал от царя невесел, повесил свою буйну главу ниже плеч своих. [Вдруг навстречу ему] сын его Еруслан Лазаревич, не доезжая [до] отца своего, слазит с добра коня богатырского, бьет челом о сыру землю:

– Многолетное здравие государю моему батюшке князю Лазарю Лазаревичу! Как тебя, государя моего, Бог милует, что ты от царя невесел едешь? Или тебе у царя место было не по обычаю, или тебе от царя было слово кручинное?

И говорит ему князь Лазарь Лазаревич:

– Место мне у царя было по обычаю, стольники и чашники доходили до меня; одно мне [в кручину] – от царя было слово кручинное. Когда бывают дети отцу и матери на потеху, а под старость на перемену и по смерти [для] поминок; а ты мне, дитятко, смолода не на потеху, а под старость не перемена, а по смерти не поминок! Да ходишь ты, дитятко, ко царю на двор и шутишь шутки не гораздо добрые: когохватишь за руку – у того рука прочь, когохватишь за голову – у того голова прочь, когохватишь за ногу – у того нога прочь; и на тебя князя и бояря били челом; царь тебя из царства велел вон выслать.

И Еруслан Лазаревич, стоячи, усмехнулся, а сам говорит таково слово:

– То мне, государь батюшка, за обычай, что хотят меня из царства вон выслать; одна на меня кручина, батюшка, великая: ходил я по твоим стойлам и по конюшням, во аргамаках, и в конях, и в жеребцах не мог себе лошадки выбрать, коя бы мне по обычаю и могла бы мне послужить.

И тут сел Еруслан Лазаревич на своего доброго коня, и поехал ко двору своему, и приехал в дом отца своего, учал проситься у отца своего и у матери в чистое поле гулять. И отец князь Лазарь Лазаревич, и мати его Епистимия отпускают его, и дают ему двадцать отроков, пятьдесят мудрых мастеров, и велели делать близ моря каменную палату. И тут мастера при море каменную палату сделали в три дни и гонца послали; и гонец посланные речи сказал, что-де та палата сделана на берегу моря. И тут Еруслан Лазаревич учал у отца своего и у матери просить благословения, и они его благословили; и поехал Еруслан Лазаревич в каменную палату, и отец

его отпускает за ним наряду, и имения многое множество, и злата, и серебра, и скатного жемчуга, и камни драгого самоцветного, и всякого обилия много, отпустил ему коней добрых довольно, на службу ему дал сто отроков избранных и вооруженных.

А Еруслан Лазаревич не емлет себе ни единого отрока и пенязя отцовы казны. Ни единого пенязя, ни скатного жемчугу, ни драгого камня, ни добрых коней и ни единого себе отрока, и все отпустил назад, только себе взял седло черкасское, да узду тасмянную, да войлочные косящатые.

Приехал Еруслан Лазаревич к морю, и вошел в белокаменную палату, и постлал под себя войлочные косящатые, а в головы положил седло черкасское да узду тасмянную и лег опочивать. А поутру встал Еруслан Лазаревич рано, учал ходить по диким заводам и по губам морским, и учал гусей и лебедей стреляти и серых птиц и тем себя кормил. И ходил Еруслан Лазаревич месяц, и другой, и третий, и нашел [на] сокму: в ширину та сокма пробита, как доброму стрельцу стрелить, в глубину та сокма пробита, как доброму коню скочить. И стоячи на той сокме, Еруслан удивился и говорит таково слово:

– Кто-де по сей сокме ездит?

Вдруг [видит], по той сокме ездит богатырь, стар человек, конь под ним сив – Алогти-Гирей. Увидел стар человек молодого юношу и слазил с своего с добра коня, бьет челом о сыру землю:

– Многолетное здравие государю моему Еруслану Лазаревичу! Как тебя, государя моего, Бог милует? Почто ты, государь, в сие место, в таковую пустыню, заехал, и кои тебя ветры завяли?

И говорит ему Еруслан Лазаревич:

– Брате стар человек! Почему ты меня знаешь и именем называешь?

И говорит ему стар человек:

– Государь мой, Еруслан Лазаревич! Как мне тебя не знать и именем не называть: я старый слуга отца твоего, стерегу в поле лошадиное стадо тридцать три лета и езжу к отцу твоему поодинова на год поклониться и жалованье беру; и аз тебя знаю.

И говорит ему Еруслан Лазаревич:

– Братие стар человек! Как тебя по имени зовут, и мне бы тебя добром пожаловать!

И говорит ему стар человек:

– По имени зовут меня, государь, Ивашко, сивый конь. Алогти-Гирей, гораздый стрелец, сильный борец, в полку богатырь.

И говорит ему Еруслан Лазаревич:

– И я сюда зашел волею: похотел в поле казаковать, и горести принять, и желание получить. Яз теперь ребенок млад, учал с неразумия играть во дворе с боярскими детьми и с княженицкими, и шутики шутить учал не гораздо добрые, и царь того не залюбил – велел меня из царства вон выслать. Да то мне не кручина, что велел меня царь из царства вон выслать, только одна кручина велика, что ходил я у отца своего по стойлам и по конюшням, [но] во аргамаках и в жеребцах не мог себе выбрать лошади, коя б мне могла послужить.

И говорит ему Ивашка, сивый конь Алогти-Гирей, гораздый стрелец, сильный борец, в полку богатырь:

– Государь Еруслан Лазаревич! Есть у меня конь сив [космат], и буде его поймашь, и он тебе будет служить; а буде ты его не поймашь, и тебе его вовеки не видать.

И говорит ему Еруслан Лазаревич:

– Братие Ивашко! Как мне того видети коня?

И говорит ему Ивашко:

– Государь Еруслан Лазаревич! Видети того жеребца поутру рано на заре, как погоню на море поить лошадей.

И Еруслан Лазаревич лег почивать в каменной палате, и, поутру рано встав, Еруслан Лазаревич пошел на сокму и взял с собою узду тасмянную и встал в сокровенном месте под дубом. Ивашко лошадей к морю пригнал, и Еруслан Лазаревич посмотрел на море [и видит]: когда жеребец пьет, на море волны встают, под дубом орлы крекчут, по горам змеи свищут, и никакой человек на сырой земле стояти не может. И Еруслан Лазаревич ударил наотмашь, и конь доброй пал на окорачки, и хватает его Еруслан Лазаревич, добра коня, за гриву, и наложил на добра коня узду тасмянную, и повел его к палате белокаменной; а Ивашка за ним поехал.

И приехал Еруслан Лазаревич к палате белокаменной, и учал седлать того жеребца, обседлал и учал поезживать; и рад бысть вельми, что ему служить может.

И говорит Еруслан Лазаревич:

– Брате Ивашко, сивой конь Алогти-Гирей, сильный борец, гораздый стрелец, в полку богатырь! Как жеребцу имя дать и как его назвать?

И говорит ему Ивашка, сивый конь:

– Государь Еруслан Лазаревич! Когда может холоп прежде государя такову животу имя дать или как его назвать?

И назвал его Еруслан Лазаревич, добра коня, Арашем вещим.

И говорит Еруслан Лазаревич:

– Брате Ивашко, поедь ты ко отцу моему и к матери, и исправь им от меня челобитье, и скажи им, что поехал в чистое поле гулять и изъезжать князя Ивана русского богатыря, и доброго коня себе добыл, что может ему послужити.

– И говорит Ивашка:

– Государь мой Еруслан Лазаревич! Поезжай с богом.

И Еруслан Лазаревич поехал ступью бредучею, а Ивашка провожал его и поехал за ним во всю пору лошадиную, и Еруслан Лазаревич опередил Ивашка и из очей у него выехал.

А Ивашко воротился от Еруслана прочь, и поехал ко царству царя Картауса Картаусовича и ко князю Лазарю Лазаревичу, и сказал ему от Еруслана посланные речи, и куда он поехал, и что добра коня себе добыл, что тот конь может ему послужить. И отец его князь Лазарь Лазаревич, и мати его Епистимия о сыне своем возрадовались о том, а Ивашка честно дарили великими дарами и отпустили его в чистое поле к своей службе, где ему преж дано приказанье у коней.

А Еруслан Лазаревич поехал в чистое поле. И ехал месяц, и другой, и третий, [и вот] наехал Еруслан Лазаревич в чисто поле рать силу побитую, и въехал Еруслан Лазаревич в тое ратное побоище, и крикнул громко голосом:

– Есть ли в сей рати жив человек?

И говорит ему жив человек:

– Государь Еруслан Лазаревич! Кого ты спрашиваешь или кто тебе надобен?

И говорит ему Еруслан Лазаревич:

– Брате жив человек! Чья рать сила побитая и кто ее побивал?

И говорит ему жив человек:

– Государь Еруслан Лазаревич! Та рать-сила побитая лежит Феодула царя змия, а побивал ее князь Иван русский богатырь, а [требует] у него прекрасную царевну Кондурию Феодуловну, а желает ее за себя взять неволею.

И говорит ему Еруслан Лазаревич:

– Брате жив человек! Далече ли его [догонять]?

И говорит ему жив человек:

– Государь Еруслан Лазаревич! Недалече его доезжать, князя Ивана русского богатыря: объедь ты сию рать-силу побитую, и уведашь конный след.

И Еруслан Лазаревич объехал рать-силу побитую и нашел ступь конскую, ископытъ, – скакано с горы на гору, доли и подолки вон выметываны. И Еруслан Лазаревич поехал тем же

путем и стал скакать с горы на гору, доли и подолки вон выметывал; и говорит сам себе: «Конь коня лучше, а молодец молодца и подавно удалее!»

И едет месяц, и другой, и третий, и наехал в чисте поле шатер стоит, а у бела шатра добрый конь стреножен, на белой [кошме ест] белоярую пшеницу. И Еруслан Лазаревич припустил добра коня Араша вещего к тому же корму, а сам пошел в бел шатер, видит: в белом шатре опочивает млад молодец замертво. И Еруслан Лазаревич вынул саблю булатную и хочет его скорой смерти предати; а сам себе подумал: «Не честь мне будет, не хвала, что сонного убить: сонный человек аки мертвый». И Еруслан Лазаревич лег опочивать в шатре на другой стороне и уснул крепко. И князь Иван русский богатырь пробудился и вышел из шатра вон, и посмотрел на свой добрый конь, а его добрый конь далече отбит и щиплет траву в чистом поле, а на белой кошме чуж конь незнаем и ест белоярую пшеницу. И князь Иван русский богатырь вошел в шатер и посмотрел, а в беле шатре, на другой стороне, спит млад молодец; и князь Иван русский богатырь вынул саблю булатную и хочет его смерти предать, а сам себе подумал: «Не честь мне будет, не хвала молодецкая сонного человека убить: сонный человек аки мертвый». Учал будить:

– Встань, человек, пробудись – не для ради моего бужения, для ради своего спасения! Не ведаешь, что не по себе товарища избираешь. За то рано напрасною смертью умрешь! За что лошадь свою к чужому корму припускаешь, а сам, не спросясь, в чужой шатер ходишь? За то люди напрасно много крови проливают. И как еси тебя зовут по имени, и откуда едешь, и какого отца сын?

И говорит ему Еруслан Лазаревич:

– Господине князь Иван русский богатырь! Яз еду от Картаусова царства, отец у меня князь Лазарь Лазаревич, а мати у меня Епистимия, а меня зовут Ерусланом; а добра коня к чужому корму припустил, что ему стоять без корму не годится, а твоего коня прочь не отбивал. Что ты говоришь, то не гораздо ладно: когда бывают люди добрые, [то] и они прежде худых речей пьют и едят, и потешаются, и в чисте поле разъезжаются. Есть ли у тебя, князь Иван русский богатырь, чем воду черпати?

И говорит ему князь Иван русский богатырь:

– Есть у меня чара, чем воду черпати.

И говорит ему Еруслан Лазаревич:

– Князь Иван русский богатырь! Когда тебе есть чем воду черпать, ты почерпни воды и умойся, да и мне подай.

И говорит князь Иван русский богатырь:

– Еруслан Лазаревич! Тебе воду черпати да и мне подавать, ибо ты дитя молодое.

А в те поры Еруслан Лазаревич шести лет, по седьмому году пошло. И говорит Еруслан Лазаревич:

– Князь Иван русский богатырь! Тебе воду черпать да и мне подавать: не поймав, птицу теребишь, а добра молодца, не отведав, хулишь и хулу возлагаешь.

И говорит Иван русский богатырь:

– Я во князьях князь, а в боярах боярин, а ты казак: тебе воду черпать и мне подавать.

И говорит ему Еруслан Лазаревич:

– Яз в чистом поле богатырь и у царей во дворе богатырь, а ты, когда у царей во дворе, и тогда ты князь, а когда ты в чисте поле, и тогда ты пес, а не князь; тебе воду черпать и мне подавать.

И видит князь Иван неминуемую беду, взяв чару, почерпывает воду, и сам умылся, да и ему подал, и Еруслан Лазаревич умылся. И сядились они на своих добрых коней, и князь Иван русский богатырь поехал во всю пору лошадиную, а Еруслан поехал ступью бредучею; и понадогнал Еруслан Лазаревич, и ударил своего доброго коня Араша вещего по окорокам, и опередил князя Ивана русского богатыря, и помолился:

– Боже, Боже, Спас милостив! Дай мне, Господи, всякого человека убить копьем, тупым концом!

И оборотил Еруслан свое долгомерное копье тупым концом, и ударил князя Ивана русского богатыря долгомерным своим копьем и вышиб его из седла вон; и Араш, его вещий конь, наступил на доспешное ожерелье. И обратил Еруслан Лазаревич свое копье долгомерное острым концом, и хочет его смерти предать. И говорит ему князь Иван русский богатырь:

– Государь Еруслан Лазаревич! Подай смерти, дай живот: преж сего у нас брани не бывало, а и впредь не будет.

И Еруслан Лазаревич слазит с добра коня, и принимает его за правую руку, и целует его во уста сахарные, и называет его братом. И поехал Еруслан Лазаревич ко белу шатру, и брат его за ним; и припустили своих добрых коней ко одному корму, а сами пошли в бел шатер, и учал и нити, и нети, и веселиться; и как будут оба на веселие, и говорит ему Еруслан Лазаревич:

– Крате князь Иван русский богатырь! Ехал я в чисто поле, и наехал я [на] две рати – побитые лежат, и кто их побивал?

И говорит князь Иван русский богатырь:

– Та рать-сила побитая Феодула царя змия, а побивал яз, а [добиваюсь] у него яз прекрасные царевны Кондурии Феодуловны, что ее краше на свете нет; и в завтра у меня будет останешный бой. И ты, Еруслан Лазаревич, встань в сокровенном месте и посмотри моей храбрости.

И потешався, легли спать; и поутру, встав рано, князь Иван русский богатырь оседлал своего доброго коня и поехал в чистое поле; а Еруслан Лазаревич пошел пеш, встал в сокровенном месте и учал смотреть; и как приедет на князя Ивана русского богатыря Феодул царь змий, а с ним конных и вооруженных отроков 30 000 по морю и по берегу. И не ясен сокол напутается на гуси, на лебеди – напускается Иван русский богатырь на рать Феодула царя змия, и побил, и присек, и конем притоптал 20 000 и самого Феодула царя змия убил: и которые остались люди малые и старые, и некому против Ивана русского богатыря битися. И взял князь Иван русский богатырь прекрасную царевну Кондурию Феодуловну, и повел ее к своему шатру, а достальняя сила Феодула царя змия воротилась к своему царству.

И привел князь Иван русский богатырь в бел шатер Кондурию Феодуловну, а Еруслан Лазаревич за ним тут же пришел в шатер, и учал и нити, и нети, и веселиться. И лег опочивать Иван русский богатырь, а Еруслан из шатра вон вышел.

И говорит князь Иван русский богатырь:

– Милая моя, прекрасная царевна Кондурия Феодуловна! Для тебя яз со отцом твоим великую брань сотворил и отца твоего убил, а силы прибил и присек, и конем притоптал больше 51 000 все для тебя. Есть ли тебя на свете краше, а моего брата Еруслана храбрее и сильнее?

И говорит ему царевна Кондурия:

– Государь Иван русский богатырь! Кровь отца моего и воинских людей не по красоте моей пролита, но по грехам: я, государь, что за красна! А есть, государь, в чисте поле, в беле шатре три девицы царя Богрия, а по именам зовут их: большая Прондора, а середняя – Мендора, а меньшая Легия: и которая, государь, пред ними предстоящая последняя [служанка] стоит день и ночь, и та вдесятеро меня краше; а яз что за красна и хороша! Когда я была у отца своего и у матери, тогда была красна и хороша; а теперь полоняное тело: волен Бог да и ты со мною. А есть, государь, под индейским царством служит у царя Далмата человек, а зовут его Иваном Белая Япанча, а слыхала яз от отца своего, уже он стережет в чисте поле на дороге 33 лета, а во царство мимо его никаков богатырь не проезживал, ни зверь не прорыскивал, ни птица не пролетывала; а яз, государь, брата твоего Еруслана Лазаревича храбрости не видала и не слыхала – кой у них храбрее.

И Еруслан Лазаревич все то слышал, и богатырское сердце не утерпчиво: входит в бел шатер, образу божию молится, брату своему поклоняется, и с ним прощается, и садится на

своего добра коня, и поехал в чистое поле гулять ко индейскому царству, поклониться царю Далмату да свидеться со Ивашком Белой Япанчой.

И едет месяц Еруслан Лазаревич, месяц, и другой, и третий, а сам себе подумал: «Поехал я-де в дальнюю страну, а не простился я ни со отцом, ни с матерью, и не видели они меня, как едешь на добром коне». И воротился Еруслан Лазаревич во царство царя Картауса Картаусовича, и ко отцу своему и к матери; и едет месяц, и другой, и третий, и доехал до царства царя Картауса Картаусовича, а под царством царя Картауса стоит Данило Белый князь, а с ним войска 90 000, и похваляется царство за щитом взять, и царя Картауса взять жива, и князя Лазаря Лазаревича, и двенадцать богатырей.

И увидел Еруслан Лазаревич под царством рать-силу великую и подступить к бою нечем: нет у Еруслана ни щита крепкого, ни копья долгомерного, ни меча острого. И поехал Еруслан Лазаревич ко двору и ко градной стене, и видели его, что едет Еруслан, и отворили ему ворота градные. [Видит Еруслан], отец его ездит во объезжих головах; и Еруслан Лазаревич, не доезжая отца своего, слазит с добра коня, бьет челом о сыру землю:

– Многолетнее здравие государю моему батюшке князю Лазарю Лазаревичу! Как тебя, государя моего, Бог милует, и что ты, государь, едешь невесел, кручиноват?

И говорит князь Лазарь Лазаревич:

– Дитяtko мое милое, Еруслан Лазаревич! Как быть мне веселу? Приехал под наше царство князь Данило Белый, а с ним войска 90 000 конных и вооруженных; и похваляется царство наше за щитом взять, а царя Картауса и 12 богатырей хочет к себе взять.

И говорит Еруслан Лазаревич:

– Государь мой батюшка князь Лазарь Лазаревич! Пожалуй ты мне свой крепкий щит и копье долгомерное, и яз учну с татары дело делать.

И говорит ему князь Лазарь Лазаревич:

– Дитяtko мое милое, Еруслан Лазаревич, ты дитяtko молодое, не бывал на деле ратном, и услышишь свист татарский, и ты устроишься их, и они тебя убьют.

И говорит ему Еруслан Лазаревич:

– Не учи, батюшка, гоголя на воде плавать, а богатырского сына с татары дело делать.

И дает ему Лазарь Лазаревич свой крепкий щит и копье свое долгомерное, и Еруслан Лазаревич емлет щит под пазуху, а копье в руку; и выехал Еруслан Лазаревич в чистое поле гулять, и учал побивать рать-силу князя Данила Белого, и прибил, и присек рать-силу татарскую и поймал самого князя Данила Белого и взял на него клятву, что ему, князю Данилу Белому, ни детям его, ни внучатам под царство царя Картауса не приходить; а как придет опять под царство царя Картауса, и как выдаст бог в руки, и ему живому не быть. И отпустил его во свою землю, ко граду его; а войска только осталось 2000.

Как едет Еруслан Лазаревич ко царству Картаусову, и встречает его сам царь Картаус за градом, и Лазарь Лазаревич, и 12 богатырей; и Еруслан Лазаревич, не доезжая отца своего и царя Картауса, слазит с своего добра коня, бьет челом о сыру землю:

– Многолетнее здравие царю Картаусу и государю моему батюшке князю Лазарю Лазаревичу! Как вас, государей моих, Бог милует?

И говорит царь Картаус:

– Виноват я, Еруслан Лазаревич, пред тобою, что велел тебя из царства вон выслать; и ныне ты живи у меня во царстве и емли города с пригородками и с красными селами; казна тебе у меня не затворена, а место тебе подле меня, а другое – против меня, а третье, – где тебе любо.

И говорит ему Еруслан Лазаревич:

– Государь царь Картаус! Не надобе мне твоего ничего, и не повадился я у тебя во царстве жить: повадился я в чисте поле казаковать.

И прикушал Еруслан Лазаревич хлеба маленько у царя, и простился со царем и со отцом своим и с матерью, со всем царством и поехал в чистое поле, и ехал полугодишное время, и наехал в чисте поле шатер, а в беле шатре три девицы сидят: Прондора, да Мендора, да Легия – царевны, дочери царя Богрия; таковых прекрасных на свете нет, а делают ручное дело. И тут Еруслан Лазаревич входит в бел шатер, забыл образу Божию молиться, сердце его разгорелось, юность его заиграла: и берет себе большую сестру, прекрасную царевну Прондору за руку, а тем сестрам велел из шатра вон выйти, а сам говорит ей:

– Милая моя, прекрасная царевна Богриевна! Есть ли на сем свете тебя краше, а меня храбрее?

И говорит ему прекрасная царевна Прондора:

– Государь Еруслан Лазаревич, что я за красна! Когда я была у отца своего и у матери, тогда яз была и красна и хороша, а нонече яз полоняное тело. А есть, государь, под индейским царством, у царя Далмата, человек, а зовут его Ивашко, а прозвище Белая Япанча, а стоит в чисте поле на дороге, мимо его никакой человек не прохаживал, ни богатырь не проезживал, ни зверь не прорыскивал. А ты что за храбр? Обычная твоя храбрость – что ты нас, девок, разогнал.

И стал Еруслан Лазаревич, и взял острую саблю свою, и отсек ей голову да и под кровать бросил; и емлет себе вторую сестру, Мендору, и говорит ей Еруслан Лазаревич:

– Милая, прекрасная Мендора Богриевна! Есть ли на сем свете тебя краше, а меня храбрее?

И она ему те же речи сказала, и он ей главу отсек и под кровать бросил. И емлет третью девицу, Легию, к себе и говорит ей:

– Милая моя, прекрасная царевна Легия! Есть ли тебя на сем свете краше, а меня храбрее?

И говорит ему Легия-девица:

– Государь Еруслан Лазаревич! Яз что за красна и хороша! Когда была я у отца своего во царстве, тогда я была красна и хороша, а ныне полоняное тело. [Какой же] ты от меня красоты захотел? А есть, государь, под индейским царством, у царя Далмата, человек, а зовут его Ивашко, а прозвище Белая Япанча, а стоит он на дороге в чисте поле, мимо него никаких богатырь не проезживал, ни зверь не прорыскивал, и никаких человек не прохаживал, ни птица не пролетывала; а я не ведаю, кой [из вас] храбрее и сильнее. Да есть, государь, во граде Дербие, у царя Варфоломея царевна Настасея, которая, государь, перед ней предстоящая [служанка], и та вдесятеро меня краше.

И тут Еруслан Лазаревич говорит ей таково слово:

– Милая моя, прекрасная царевна Легия! Живи ты в чисте поле, не бойся никого, а сестер своих схорони.

И Еруслан Лазаревич сел на своего доброго коня и поехал в чистое поле, ко индейскому царству, ко царю Далмату поклониться да свидеться с Ивашком Белой Япанчей.

И едет Еруслан Лазаревич месяц, и другой, и третий; а в те поры Еруслан Лазаревич седми лет; и доехал – [видит] в чисте поле стоит человек, копьём подпершись, во белой япанче, шляпа на нем сорочинская, и стоячи дремлет. И Еруслан Лазаревич ударил его по шляпе плетью и говорит:

– Человече! Пробудися! Можно тебе и лежа наспаться, а не стоя!

И говорит Ивашка Белая Япанча:

– А ты кто еси, и как тебя зовут по имени, и откуда едешь?

И говорит ему Еруслан Лазаревич:

– Яз еду от Картаусова царства, отец у меня князь Лазарь Лазаревич, а матери у меня Епистимия, а меня зовут Ерусланом; а еду я во индейское царство поклониться царю Далмату.

И говорит ему Ивашка Белая Япанча:

– Брате Еруслан Лазаревич! Преж сего мимо меня не проезживал никаков богатырь, а ты хочешь мимо меня проехать? Поедем в чистое поле и отведаем плеч своих богатырских.

И тут скоро сядились на свои добрые кони и поехали в чистое поле гулять; Ивашка поехал во всю пору лошадиную, а Еруслан ступью бредучею; Ивашка заехал наперед.

И Еруслан Лазаревич помолился: «Боже, Боже, Спас милостив! Дай мне, Господи, всякого человека убить копьем, тупым концом!» И ударил Еруслан Лазаревич Ивашку против сердца ретивого копьем, тупым концом, и вышиб из седла вон; и Араш, его вещий конь, наступил на доспешное ожерелье и пригнел к сырой земле; и обратил Еруслан Лазаревич копьё острым концом, и хочет его скорой смерти предати. И говорит ему Еруслан Лазаревич:

– Брате Ивашко! Смерти хошь или живота?

И молится Ивашка, лежа на земле:

– Государь Еруслан Лазаревич! Не дай смерти, дай живот! Преж сего у нас брани не бывало, да и впредь не будет.

И говорит ему Еруслан Лазаревич:

– Брате Ивашко! Не убил бы ты, да за то тебя убью, что знают тебя в чисте поле всякие красные девки.

И обратил Еруслан Лазаревич копьё острым концом, и предал его смерти, а сам поехал ко индейскому царству поклониться царю Далмату.

И Еруслан Лазаревич, как приехал ко царству, и въехал на царев двор, и слез с своего доброго коня, а сам пошел ко царю в палату. Образу Божию он молится, царю Далмату поклоняется:

– Многолетнее здравие царю Далмату со своими 12 богатырями! А меня, государь, холопа своего, приими в службу.

И говорит ему индейский царь Далмат:

– Откуда еси, человече, пришел, от которого царства, и какого отца сын, и как тебя звать по имени?

И говорит ему Еруслан Лазаревич:

– Государь царь Далмат! Езжу я от Картаусова царства, а рождения сын князя Лазаря Лазаревича, а матери Епистимии, а меня зовут Ерусланом.

– Каким же ты путем ехал: конным, или пешим, или водяным?

И говорит Еруслан Лазаревич:

– Государь царь Далмат! Яз ехал сухим путем.

И говорит царь Далмат:

– Еруслан Лазаревич! Есть у меня человек, на дороге стоит в чистом поле, а зовут его Ивашком, прозвище Белая Япанча, мимо него никаков богатырь не проезживал, ни зверь не прорыскивал, ни птица не пролетывала, и никаков человек не прохаживал; а ты как проехал?

И говорит ему Еруслан:

– Яз, государь, не ведал, что твой человек, и я его убил.

И тут царь Далмат убоялся: «Когда-де он такого богатыря убил, и он-де царством моим завладеет». И стал царь Далмат кручинывать: «А не на то-де он приехал ко мне во царство, что ему служить; но на то он приехал, что ему царством завладеть моим». И велел Еруслана чтить честию великою, и поить, и кормить своим царским питием довольно.

Понял Еруслан Лазаревич, что его царь убоялся; оседлал коня своего и, вшед в каменную палату, образу Божию молится, и с царем Далматом прощается, и поехал Еруслан из града вон; и царь возрадовался радостью великою, что Бог избавил его от Еруслана, и повелел градские ворота затворити и утвердити, [говоря,] «чтобы Еруслан назад не воротился и царства бы нашего не попленил».

И поехал Еруслан Лазаревич ко граду Дербию, к царю Варфоломею поклониться, а хочет видети прекрасную царевну Настасию Варфоломеевну, что он слышал про ее красоту. А в те

поры Еруслан Лазаревич осьми лет на девятом году. И едет месяц, и другой, и третий, а сам себе подумал: «Поехал я в дальнюю страну, не простясь ни с отцом, ни с матерью; а если мне слюбится прекрасная царевна и я на ней женюсь, а у отца своего и у матери не благословлюся!» И поехал Еруслан Лазаревич к Картаусову царству.

Видит – Картаусово царство пусто, поплнено, и огнем пожжено, и мхом поросло; лишь только одна хижина стоит, а в хижине стар человек об одном глазе. И Еруслан Лазаревич вошел в хижину, образу Божию молится, старику поклоняется. И говорит Еруслан Лазаревич:

– Брате стар человек! Где сие царство девалось, и кто пленил?

И говорит ему стар человек:

– Господине воин! Откуда едешь и как тебя по имени зовут?

И говорит ему Еруслан Лазаревич:

– Как ты, старик, меня не знаешь? Яз здешнего царства, сын князя Лазаря Лазаревича, а мати у меня Епистимия, а меня зовут Ерусланом.

И тут старик со слезами пал на землю и говорит ему:

– Государь Еруслан Лазаревич! После твоего отъезду немного времени минуло, пришед под наше царство князь Данило Белый, собрал войска 120 000 и пришел, наше царство попленил, и огнем пожег, и ратных людей побил, храбрых витязей 180 000, а честных людей 300 800, а попов и чернецов собрал на поле и огнем пожег 412, а младенцев прибил 11 000, а жен 14 000, а царя Картауса, и отца твоего князя Лазаря Лазаревича, и 12 богатырей в полон взял и увез во свою землю; а яз един пролежал в труппу человеческом, а лежал 9 дней и 9 ночей.

И встает Еруслан Лазаревич, образу Божию молится, и с стариком прощается, и поехал к царству князя Данила Белого. А в те поры Еруслан Лазаревич десяти лет и трех месяцев. И приехал [он] до царства в полуденное время, никто не слышал и не видал, только видели малые робятки, [что] по улицам играют. И Еруслан у робят спрашивает:

– Где сидит у князя Данила Белого царь Картаус, в коей темнице? Яз бы ему подал милостыню.

И указали ему малые робята темницу, и приехал Еруслан Лазаревич к темнице, и у темницы стражей всех прибил, и ударил в темничные двери, и, вошед в темницу, говорит Еруслан Лазаревич:

– Многолетное здравие царю Картаусу и государю моему батюшке князю Лазарю Лазаревичу! Как вас, государей моих, Бог милует?

И говорит ему царь Картаус:

– Человече! Отъиде от нас прочь, откуда пришел, туда и пойд, а [над] нами не смейся. Когда-то яз был царь, а тот князь, а те богатыри, а ныне, по грехам нашим, яз не царь, а тот не князь, а те не богатыри, а мы сидим в темнице; уж у нас и очи выело, и мы сидим и рук своих не видим.

И говорит Еруслан Лазаревич:

– Яз приехал к вам не смеяться, яз приехал поклониться; а меня зовут Ерусланом, а отец у меня князь Лазарь Лазаревич, а мати у меня Епистимия.

И говорит царь Картаус:

– Аще бы Еруслан был жив, и мы бы горести не терпели.

И говорит Еруслан Лазаревич:

– Яз не лгу.

И говорит царь Картаус Еруслану:

– И ты, человече, [что] называешься Ерусланом Лазаревичем, и ты нам сослужи службу: поедь ты за теплое море в подонскую орду, в Штютен град, к вольному царю, ко Огненному щиту, к Пламенному копыю, и убей его до смерти, и помажь нам очи, и когда мы увидим свет Божий, тебе веру поимеем.

Еруслан поклонился царю Картаусу, и отцу своему князю Лазарю Лазаревичу, и 12 богатырям и поехал из града вон.

И увидели его робята, собою млады, и сказали мурзе:

– Ехал-де из града вон человек, а сказался-де нам, что Еруслан Лазаревич.

И пришед мурза к темнице, и у темницы кои богатыри были приставлены, лежат прибиты; и мурза двери [запер], и пришел ко князю Данилу Белому, и доложил ему, что был во граде Еруслан и у темницы стражей всех прибил. И велел князь Данило Белый в рог трубить и в тимпаны бить, и собралися к нему мурзы, и татары, и всякие люди; и велел князь Данило Белый выбрать лучших мурз и татар конных и вооруженных, и велел гнаться за Ерусланом, и велел его жива поймать и пред себя поставить.

И погна за Ерусланом мурзы и татары, и как наезжают, и Еруслан остановился и говорит им:

– Братие мурзы и татары! Что вы слушаете своего безумного князя Данила Белого? Не угнаться вам будет в чисте поле за ветром, а за мною, богатырем, тако ж.

И поехал Еруслан от них за тихие воды, за теплое море, к вольному царю, ко Огненному щиту, к Пламенному копыю; а мурзы и татары учили промеж собою думу думать: «Как сказать про Еруслана князю Данилу Белому? Скажем мы, что его не видали».

И ехал Еруслан Лазаревич полгодищное время; а в те поры Еруслану минуло десять лет.

И не доехал Еруслан в подонскую орду, до Штютена града, 4 поприщ [и увидел], лежит рать-сила побитая, а в той рати лежит человек-богатырь, а тело его, что сильная гора, а глава его, что сильный бугор. И Еруслан выехал в побоище, и крикнул громко голосом:

– Есть ли в сей рати жив человек?

И говорит ему богатырская голова:

– Гой еси, Еруслан Лазаревич! Кого ты спрашиваешь и кто тебе надобен?

И приехал Еруслан Лазаревич к богатырской голове, а сам себе удивился, что мертвая голова глаголет; и говорит Еруслан Лазаревич:

– Гой еси, богатырская голова! Что мертвая глаголеши, или мне слышится?

И говорит ему богатырская голова:

– Еруслан Лазаревич! Не чудится тебе, но [тебе] говорю. Далече ли едешь и куда твой путь?

И говорит ему Еруслан Лазаревич:

– А кто ты таков по имени, и которого града, и какого отца сын, и кто тебя убил?

И говорит ему богатырская голова:

– Был яз богатырь задонской орды, сын Прохора-царя, а та рать со мною лежит вольного царя, Огненного щита, Пламенного копья, а побивал ее я; а по имени меня зовут Рослонею, а приходил я под сие царство 12 лет по единожды в год, а брань у меня за то с царем была, [что] отец мой Прохор-царь сосватал за меня невесту из того царства в пеленах, а от рождения мне двадцать лет; а ты, Еруслан Лазаревич, далече ли ты едешь?

– Яз еду в подонскую орду, в то же царство, к тому же царю и хочу его пред собою мертва видети.

И говорит ему богатырская голова:

– Не видеть [тебе] его пред собою мертва, от него сам умрешь. И яз был человек, да и богатыри многие меня, цари и князи восточные и западные знали, – не токмо меня боялись, но и имени моего страшились; а как мати меня породила, и я был полторы сажени человеческие, а толстота моя была во объем человеку; и как я был лет 3, и у меня в чисте поле ни зверь не прорыскивал, и никаков человек не прохаживал, и никаков богатырь против меня не стаивал; а ныне мне 20 лет. Ты сам видишь, возраст мой каков, и тело мое 10 сажени, промеж плеч 2 сажени, да между очей моих калена стрела уместается, а голова у меня, как пивной котел, руки

у меня 3 сажени, да и тут я не мог биться и против его стояти. И тот царь силен вельми: и войска у него много, и меч его не сечет, и сабля его не имет, на воде он не тонет, а на огне не горит.

И поехал Еруслан Лазаревич в подонскую орду, в Штютен град, к вольному царю, ко Огненному щиту, к Пламенному копью. И как приехал в подонскую орду ко царю, и пришел в палату, образу Божию молится, царю поклоняется, и говорит ему царь:

– Откуды ездить, человеце, и какого отца сын?

И говорит ему Еруслан Лазаревич:

– Яз еду от Картаусова царства, от отца князя Лазаря Лазаревича, ищу себе ласкового государя, где бы мне послужить, красные порты износить и добра коня изъездить, сладкого медку испить и молодость свою потешить.

Тогда молвил ему царь:

– Еруслан Лазаревич, поезжай ко мне во град, в царстве моем люди надобны.

Тогда поехал Еруслан во град за царем и приехал туда, и пожаловал его царь свыше всех 12 богатырей. И служит ему Еруслан Лазаревич полгодишное время. И поехал Еруслан Лазаревич на потеху; и как будут оба на веселие, Еруслан Лазаревич говорит вольному царю, Огненному щиту, Пламенному копью:

– Государь, царь и великий князь! Ехал я к тебе и видел я рать-силу побитую, много трупу человеческого; а в той рати лежит жив человек: тело его, аки великая гора, а глава у него, аки великий бугор.

И тут царь, от печали вздохнув, и пал на землю, и говорит царь:

– Та глава лежит на плече моем, а под тою главою есть меч, и всяко его яз добывал и не мог добыти, а опричь того меча никакое меч не сечет меня и не имет; на огне я не горю, на воде не тону, а того меча вельми боюсь. Как бы я того богатыря не убил, и мне бы самому убиту от него быти.

И говорит Еруслан Лазаревич:

– Государь вольный царь, Пламенное копье! Пожалуй меня, холопа своего: яз тебе тот меч добуду.

И говорит ему вольный царь:

– Еруслан Лазаревич! Как ты мне ту службу сослужишь, и я тебя пожалую паче всех ближних своих приятелей; а только ты похвалился таким словом, да не сослужишь, и ты у меня не уйдешь никуда, ни водою, ни землею.

И поклонился ему Еруслан Лазаревич, и сел на своего доброго коня, и поехал к богатырской голове; и как будет у нее, и говорит ей Еруслан Лазаревич:

– О, государыня богатырская голова! Надеючись на твое великое жалованье и милосердие, [ибо] хотела ты из-под себя меч освободить мне, и яз пред царем похвалился, и царь мне так сказал: «Только-де Еруслан не добудешь того меча, и ты-де у меня не можешь нигде укрыться и не уйти ни водою, ни землею».

И слезши Еруслан Лазаревич с своего добра коня, и ударился о сыру землю, и говорит:

– О, государыня богатырская голова! Не дай напрасной смерти, дай живота.

И богатырская голова с места сдвинулась, и Еруслан Лазаревич взял меч и поехал; а сам себе подумал: «Господи Боже, Спас милостивый, доселе яз царей устрашал, богатырей побивал, а ныне богатырской голове поклонился!» И богатырская голова крикнула громко голосом, и Еруслан Лазаревич воротился; и Еруслан узнал свою вину, и воротился, и слез с добра коня, и пал на сыру землю и говорит:

– Богатырская голова! виноват я пред тобою, что посмел [сказать] таковое слово!

И возговорит ему богатырская голова:

– Бог ты простит, Еруслан Лазаревич, в том слове, что дерзнул со млада ума! Не всем ты завладеешь, что меч взял: можешь и с мечом быти мертв; тако добра [тебе] хощу. Как ты, Еруслан Лазаревич, приедешь в Штютен град к вольному царю, ко Огненному щиту, к Пла-

менному копыю и как царь увидит тя и не усидит на престоле своем, кинет жезл свой и встретит тя, учнет тебе говорить и много добра сулить. И ты, Еруслан Лазаревич, послушай меня: и ударь его по голове однажды; и как ты его ударишь, и буде он тебе велит себя и вдругорядь ударить, и ты его не бей, [ибо] он с того удара оживет, и он тебя убьет.

И Еруслан Лазаревич поклонился ей и поехал ко граду; и как въехал на царев двор, а меч несет на плече. И увидел его царь, скочил с престола своего, и кинул жезл свой, и побежал встречать Еруслана.

И говорит ему царь:

– Исполать тебе, Еруслан Лазаревич! Какова тебя сказывали, таков ты и есть. За ту тебе службу место у меня тебе первое подле меня, а другое против меня, а третее, где тебе любо; казна у меня тебе не затворена, а после смерти царством моим владей.

И протянул царь руку и хотел меч принять, и Еруслан Лазаревич ударил царя по главе и рассек его надвое; и говорит ему царь:

– Ударь меня, Еруслан, и вдругорядь.

И говорит ему Еруслан Лазаревич:

– Ударил я тебя по главе и рассек пополам, и ты не гораздо говоришь: богатырь единожды сечет!

И кинулись к нему и хотели его поймать, и взять, и посадить в темницу; и Еруслан взял в руку меч, а в другую полцаря, и поворотился кругом, и убил князей и бояр, и богатырей сорок человек.

И возговорят ему князья, и бояре, и градские люди:

– Государь Еруслан Лазаревич! Смирися, престани битися! Не для ради мы того к тебе кинулись, чтобы драться, а чтобы ты был у нас царем.

И говорит им Еруслан:

– Выбирайте вы царя промеж собою иного, а яз вам не царь.

И учал Еруслан из царя желчь вынимать и в сафьянные сумки класть; и сел Еруслан на своего доброго коня и поехал из града вон; и в те поры Еруслану минуло 11 лет.

И приехал Еруслан к богатырской голове, и вынул из сумок царскую желчь, и помазал богатыря Рослонея, и тут Рослоней жив стал, и с Ерусланом поцеловались, и назвались друг друга братом, и Рослоней-богатырь поехал в подонский град по благословению отца своего жениться вольного царя на дщери Понарии-царевне, царствовать в Штютен граде; а Еруслан поехал ко князю Данилу Белому в царство.

И ехал Еруслан год времени, и въехал во град ночью; никто его не слышал и не видал; и приехал к темнице, у темницы стражей всех прибил, и ударил в темничные двери, и вышиб вон. И вшед в темницу, и говорит Еруслан Лазаревич:

– Многолетное здравие царю Картаусу и государю моему батюшке князю Лазарю Лазаревичу и двумнадесяти богатырям!

И говорит ему царь Картаус:

– Человеке, отыди прочь от нас, не пролыгайся!

И говорит им Еруслан Лазаревич:

– Яз, государь, не пролыгаюся; куда вы меня послали, и я вам ту службу сослужил и желчь из него вынул.

И возговорит ему царь Картаус:

– Человеке! Коли ты Еруслан называешься и службу нашу сослужил, вольного царя убил и из него желчь вынул, и ты той желчию помажь нам очи, и мы тебя и свет Божий увидим, и тебя, Еруслана, увидим, и веру тебе поимеем.

И Еруслан царю очи помазал, и отцу своему князю Лазарю Лазаревичу, и двумнадесяти богатырям очи помазал, и они свет Божий узрели, и Еруслана увидели, и возрадовались радости великою. И как утренняя заря займется, и Еруслан вышел из темницы вон и сядился

на своего доброго коня, и поехал ко граду. И не ясен сокол напускается на гуси и на лебеди, напускается Еруслан Лазаревич на мурзы и на татары: прибил, и присек, и конем притоптал мурз и татар 170 000, а черных людей и младенцев в девять лет в крещеную веру привел и крест целовать велел за царя Картауса, а свою им татарскую веру велел проклинать и велел бити челом царю Картаусу. А князь Лазарь Лазаревич князем был, а двенадцать богатырям богатырями велел быть; а князя Данила Белого, поймав, сослал в монастырь и велел постричи и дал ему наказание: а за то его убил, что он мать его убил, княгиню Епистимию.

И покушал Еруслан хлебца маленько у царя Картауса, и простился с царем, и со отцом своим, и с богатырями, и со всеми людьми, и всея на своего доброго коня, и поехал из царства вон.

И выслал царь Картаус людей за ним, и отец его князь Лазарь много слезами унимали:

– Живи ты у нас, Еруслан Лазаревич, божие да твое царство: владей им, а от нас прочь не отъезжай.

И Еруслан поклонился царю Картаусу, и со отцом своим простился, и поехал ко граду Дербию, ко царю Варфоломею: хочет видети прекрасную царевну Настасию Варфоломеевну; в те поры Еруслану минуло двенадцать лет.

И едет месяц, и другой, и третий, и доехал Еруслан до царства Варфоломеева; [видит] под тем царством озеро велико, а в том озере лютное чудо о трех головах на всяк день выходит на берег и поедает многие люди. А царь Варфоломей велит на всяк день клич кликать, чтобы бог послал такого человека, кой бы в озере чудо извел. И велел говорить так:

– А яз бы ему много дал городов и казны довольно ему, и коней добрых, и людей ему на службу, сколько ему надобно.

И въехал Еруслан во град, и стал на дворе у вдовы, и услышал Еруслан клич царя, что много чудо людей поедает.

И сел Еруслан на своего доброго коня, и поехал к озеру. И услышало чудо, что приехал Еруслан, и выскочило вон. Конь испугался, пал на окарачки, и Еруслан скалился с своего добра коня на землю; ихватило его чудо, и поволокло во озеро. Еруслан ухватил меч свой, а добрый конь его остался на берегу; и влез Еруслан чуду на спину, и отсек Еруслан чуду две головы, и хочет третью голову отсечь. И возмолилось чудо:

– Государь Еруслан Лазаревич! Не дай смерти, дай живот! От сего дня из озера не выйду и людей есть не стану, а стану есть рыбу, и тину, и траву болотную, а тебе дам подарок велий: есть у меня камень самоцветный, и яз тебе отдам.

И говорит Еруслан Лазаревич:

– Чудо, аще ты мне камень отдашь, яз тебя спущу жива.

И пошло чудо во озеро, а Еруслан все на нем сидел; и взял у чуда камень самоцветный, и велел вынести из озера на берег. [А когда вынесло], Еруслан снял с чуда третью голову, и сел на своего доброго коня, и поехал во град Дербию, [там] встречает его царь Варфоломей в воротах градных; и Еруслан Лазаревич, не доезжаячи царя, слазит с своего добра коня, бьет челом о сыру землю:

– Многолетное здравие государю царю Варфоломею! Многолетствуй, государь, во своем царстве с князи, и с боляры, и со всеми христианы на многие лета! Избыл [ты] еси своего града губителя.

И возговорит ему царь Варфоломей, и все возрадовались радостью великою, и емлет Еруслана за руку за правую, и целует его во уста сахарные, а сам возговорит таково слово:

– Ведаю яз, божий человек, что не хотел Господь смерти грешникам, хотел наш град от такового губителя спасти посланным на губителя тобою, храбрым воином; и как тебя зовут по имени, и откуда тебя сюда бог занес, и какого отца сын и матери?

И говорит Еруслан:

– Государь царь Варфоломей! Яз, государь, еду от Картаусова царства, а от отца сын Лазаря Лазаревича, а мати у меня Епистимия, а меня зовут Ерусланом, а гулял яз, государь, в чистом поле.

И царь наипаче возрадовался, что бог ему послал такого человека храброго; и архиепископ того града со всем собором и со крестами, и со иконами встречали его с князьями, и с боярами, и со всеми своими православными христианами – поклоняется ему весь мир, и малые младенцы взыграли, и стары вострепетали; и бысть во граде радость великая.

И царь Варфоломей на радости и пиры сотворил многие и великие, и созвал князей, и бояр, и всяких чинов людей с женами и с детьми, а Еруслана взял за руку, и повел к себе в палаты, и дал ему место подле себя, и стал ему говорить:

– Государь Еруслан Лазаревич! Буди воля твоя, живи ты у меня во царстве и емли ты города и с пригородками, и с красными селами; место тебе подле меня, а другое против меня, а третее место, где тебе любо; казна тебе у меня не затворена: емли себе злата, и серебра, и скатного жемчуга, и камения драгого, сколько тебе надобно; поизволишь жениться, и яз дам за тебя дочь свою Настасью прекрасную, а приданого дам половину царства.

И как Еруслан сидел за столом на веселие, и говорит [царю] Еруслан Лазаревич:

– Государь царь Варфоломей, покажи мне дочь свою.

И царь Варфоломей велел идти в палату к дочери своей, прекрасной Настасии Варфоломеевне; и Еруслан встал из-за стола и вошел в палату, образу Божию поклоняется, и царевна поднесла ему разные пития царские. Еруслан, испив у царевны, и пошел вон из палаты, и учал говорить:

– Государь царь Варфоломей! Хочу жениться и понять за себя дочь твою Настасию.

И тому царь Варфоломей возвеселился и дал за него дочь свою Настасию.

И взял Еруслан Настасию Варфоломеевну, и учал ее спрашивать:

– Милая моя царевна Настасия Варфоломеевна! Есть ли на сем свете тебя краше, а меня храбрее?

Что возговорит ему царевна Настасия:

– Государь Еруслан Лазаревич! Нет тебя храбрее: ты, государь, князя Ивана – русского богатыря победил; ты, государь, князя Данила Белого побил и царство его попленил; ты, государь, Ивашка Белую Япанчу убил; ты индейского царя устрасил; ты, государь, вольного царя, Огненного щита, Пламенного копья убил; ты, государь, оживил Рослонея-богатыря; ты, государь, отца своего воскресил и змия убил. Яз, государь, что за красна! Как есть, государь, в девичьем царстве, в солнышном граде царевна Понария, сама царством владеет, иная девица, государь, коя пред нею стоит день и ночь, и та, государь, меня вдесятеро краше.

И поутру встав Еруслан Лазаревич рано, и дает жене своей царевне Настасии Варфоломеевне камень самоцветный, и говорит ей:

– Милая моя царевна Настасия! [Если] ты родишь сына, и ты ему вделай в перстень, а [если] родишь дочь, дай в приданое.

А сам пошел ко царю в палату и учал с ним пития пити и веселиться; и как будут оба на веселие, и Еруслан, встав из-за стола, образу Божию поклоняется, и царю бьет челом, и с женою простился; и сел на своего доброго коня, и поехал к девичью царству, к солнышному граду, видети прекрасную царевну Понарию.

И ехал Еруслан полгода времени, и доехал до девичья царства, до солнышного града, и въехал в град, слез с своего доброго коня и пошел к царевне в палату. И узрела царевна такого воина, и возрадовалась, и учла ему бити челом:

– Государь Еруслан Лазаревич! Владей ты моим царством и людьми; и вся казна, и добрые люди, и кони, и я сама пред тобою; а воинских людей у меня 7 000 и черных людей 300 000 – владей всем.

Еруслан Лазаревич, смотрячи на красоту ее, умом смешался и забыл свой первый брак; и взял ее за руку за правую, и целовал ее во уста сахарные, и прижимал к сердцу ретивому, и назвал ее женою, а она его мужем назвала; и учили себе жить и царством владети.

А Настасия Варфоломеевна без него родила сына; и нарече во святом крещении имя ему Иван, а прозвище Еруслан Ерусланович: глаза у него, как чаши, а лицом румян, а собою росл.

И живет Настасия Варфоломеевна без Еруслана пять лет, по все дни лицо свое умывает слезами, ждучи своего мужа Еруслана Лазаревича; и как [стал] Еруслан Ерусланович пяти лет на шестом, и учал ходить во двор к бабушке своему царю Варфоломею, и учал шутить шутки с княженицкими детьми, и боярскими, и с гостиными: кого хватит за руку – у того рука прочь, кого хватит за голову – и голова прочь; и тут граждана его не залюбили. Еруслан Ерусланович узнал, что его граждана не возлюбили и пришел к матери своей Настасии Варфоломеевне и учал говорить:

– Государыня матушка Настасия Варфоломеевна! Куда поехал государь мой батюшка?

И говорит Настасия:

– Дитячко мое милое, Еруслан Ерусланович! Поехал твой батюшка к девичью царству, к солнышному граду.

Еруслан Ерусланович седлал своего доброго коня и поехал отца своего искать. И как будет Еруслан Ерусланович под царством девичьим, и вскричит громко голосом; и отец его Еруслан с постели спрятал и возговорит:

– Милая моя Понария-царевна! Не бывали ли кто преже сего под сим царством и не сватывался ли кто к тебе?

И говорит ему Понария-царевна:

– Государь Еруслан Лазаревич! Не бывал никто преже тебя.

И говорит Еруслан:

– Слышу яз, что есть под царством богатырь; и я поеду убью его.

И выехал Еруслан в чистое поле. Как съезжались два сильные богатыри, Еруслан Лазаревич ударил сына своего против сердца ретивого и мало его из седла вон не вышиб; и Еруслан Ерусланович ударил отца своего Еруслана против сердца ретивого, и ухватил Еруслан Ерусланович копье рукою правою у отца своего, и воссиял на руке перстень, а в перстне камень самоцветный. И увидал Еруслан Лазаревич у сына своего злат перстень, а в перстне камень самоцветный, и учал спрашивать сына своего:

– Чье детище молодое, и откуда едешь, и какого отца сын, и как тебя зовут по имени?

И говорит сын его:

– Государь храбрый воин! Яз еду от града Дербия, от царя Варфоломея, а отец у меня был Еруслан Лазаревич, а мать у меня Настасия Варфоломеевна, а отца своего в лицо не знаю; а поехал от матери своей гулять к девичью царству.

И Еруслан Лазаревич брал его за руку за правую и целовал его в уста сахарные, и называл его сыном; и сажались они на своих добрых коней, и поехали ко Дербию граду, к Варфоломееву царству, и учал Еруслан сына своего спрашивать о отце своем, царе Варфоломее, о здравии, и о матери его, а об своей жене, и о царстве, и о людях:

– Не прихаживали ли кто без меня под наше царство, и не побивали ли кто людей в царстве нашем?

И говорит ему сын его Еруслан Ерусланович:

– Государь мой батюшка Еруслан Лазаревич! Дедушка по старости не может, а мати моя в печалях великих, что не может тебя к себе дождаться, а под царством нашим не бывал никто.

И ехал, ехал Еруслан полгода времени, и приехал под царство Дербия-град, [слышит] во граде плач и сетование великое: преставился у них царь Варфоломей. И въехали они во град Дербия; граждана того града их опознали, что едет Еруслан и с сыном своим Ерусланом Еруслановичем. И люди Дербия-града поклонились:

– Многолетнее здравие государю Еруслану Лазаревичу с сыном своим Ерусланом Еруслановичем! Здравствуй, государь, на Дербии-граде: прими венец царский, и порфиру царскую, и град Дербий, и орду сию, и мы о тебе станем радоваться, а царя Варфоломея поминати.

И въехал Еруслан на двор свой, и выскочила против его встречати прекрасная царевна Настасия Варфоломеевна, и низко мужу своему поклоняется Еруслану Лазаревичу, и говорит таково слово:

– Солнце мое равитское! Откуда взошло и меня обогрело? Отколе мя свет осветил, и отколе заря воссияла, и свет осветил? – И обняла его, и взяла за руку, и целовала его во уста сахарные, и прижимала его к своему сердцу ретивому, и повела его в хоромы царские.

И все боляра, и гости торговые, и черные люди Еруслану возрадовались.

Еруслану слава не минуется отныне и до века.

Аминь.

Н. М. Карамзин. Прекрасная царевна и счастливый карла

Старинная сказка, или новая карикатура

О вы, некрасивые сыны человечества, безобразные творения шутиливой природы! вы, которые ни в чем не можете служить образцом художнику, когда он хочет представить изящность человеческой формы! вы, которые жалуетесь на природу и говорите, что она не дала вам способностей нравиться и заградила для вас источник сладчайшего удовольствия в жизни – источник любви! Не отчаивайтесь, друзья мои, и верьте, что вы еще можете быть любезными и любимыми, что услужливые Зефиры ныне или завтра могут принести к вам какую-нибудь прелестную Псишу, которая с восторгом бросится в объятия ваши и скажет, что нет ничего милее вас на свете. Выслушайте следующую повесть.

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был *Царь добрый человек*, отец единой дочери, царевны прекрасной, милой сердцу родителя, любезной всякому чувствительному сердцу, редкой, несравненной. Когда *Царь добрый человек*, одетый богато багряницею, увенчанный венцом сапфино-рубиновым, сидел на высоком троне среди народного множества и, держа в правой руке золотой скипетр, судил с правдою своих подданных; когда, вздыхая из глубины сердца, изрекал приговор должного наказания, тогда являлась *Прекрасная Царевна*, смотрела прямо в глаза родителю, подымала белую руку свою, простирала ее к судящему, и пасмурное лицо правосудия вдруг озарялось солнцем милости, виновный, спасенный ею, клялся в душе своей быть с того времени добрым подданным царя доброго. Бедный ли приближался к Царевне? Она помогала ему; печальный ли проливал слезы? Она утешала его. Все сироты в пространной области *Царя доброго человека* называли ее матерью, и даже те, которых сама природа угнетала, несчастные, лишенные здоровья, облегчались ее целительною рукою, ибо Царевна совершенно знала науку врачевания, тайные силы трав и минералов, рос небесных и ключей подземных. Такова была душа Царевнина. Телесную красоту ее описывали все стихотворцы тогдашних времен, как лучшее произведение искусной природы, а стихотворцы были тогда не такие льстецы, как ныне; не называли они черного белым, карлы великаном и безобразия примером стройности. В древнем книгохранилище удалось мне найти одно из сих описаний; вот верный перевод его:

«Не так приятна полная луна, восходящая на небе между бесчисленными звездами, как приятна наша милая Царевна, гуляющая по зеленым лугам с подругами своими; не так прекрасно сияют лучи светлого месяца, посребряя волнистые края седых облаков ночи, как сияют золотые волосы на плечах ее; ходит она, как гордый лебедь, как любимая дочь неба; лазурь эфирная, на которой блистает звезда любви, звезда вечерняя, есть образ несравненных глаз ее, тонкие брови, как радуги, изгибаются над ними, щеки ее подобны белым лилеям, когда утренняя заря красит их алым цветом своим; когда же отверзаются нежные уста *прекрасной Царевны*, два ряда чистейших жемчужин прельщают зрение; два холмика, вечным туманом покрытые... Но кто опишет все красоты ее?»

Крылатая богиня, называемая Славою, была и в те времена так же словоохотлива, как ныне. Летая по всей подсолнечной, она рассказывала чудеса о *прекрасной Царевне* и не могла об ней наговориться. Из-за тридцати земель приезжали царики видеть красоту ее, разбивали высокие шатры перед каменным дворцом *Царя доброго человека* и приходили к нему с поклоном. Он знал причину их посещения и радовался сердечно, желая достойного супруга милой своей дочери. Они видели *прекрасную Царевну* и воспламенялись любовью. Каждый из них говорил *Царю доброму человеку*: «*Царь добрый человек!* Я приехал из-за тридцати земель,

тридесятого царства; отец мой владеет народом бесчисленным, землею прекрасною; высоки терема наши, в них сияет серебро и золото, отливают разноцветные бархаты. Царь! Отдай за меня дочь свою!» – «*Ищи любви ее!*» – отвечал он, и все царевичи оставались во дворце его, пили и ели за столом дубовым, за скатертью браною, вместе с Царем и с Царевною. Каждый из них смотрел умильными глазами на прекрасную и взорами своими говорил весьма ясно: «*Царевна! Полюби меня!*» Надобно знать, что любовники были в старину робки и стыдливы, как красные девушки, и не смели словесно изъясняться с владычицами сердец своих. В наши времена они гораздо смелее, но зато *красноречие взоров* потеряло ныне почти всю силу. Обожа-тели *прекрасной Царевны* употребляли еще другой способ к изъяснению своей страсти, способ, который также вышел у нас из моды. А именно, всякую ночь ходили они под окно Царевнина терема, играли на бандурах и пели тихим голосом жалобные песни, сочиненные стихотворцами их земель; каждый куплет заключался глубокими вздохами, которые и каменное сердце могли бы тронуть и размягчить до слез. Когда пять, шесть, десять, двадцать любовников сходились там в одно время, тогда они бросали жеребий, кому петь прежде, и всякий, в свою очередь, начинал воспевать сердечную муку; другие же, поджав руки, ходили взад и вперед и посматривали на окно Царевнино, которое, однако ж, ни для кого из них не отворялось. Потом все они возвращались в свои шатры и в глубоком сне забывали любовное горе.

Таким образом проходили дни, недели и месяцы. *Прекрасная Царевна* взглядывала на того и на другого, на третьего и на четвертого, но в глазах ее не видно было ничего, кроме холодного равнодушия к женихам ее, царевичам и королевичам. Наконец все они приступили к *Царю доброму человеку* и требовали единодушно, чтобы прекрасная дочь его объявила торжественно, кто из них нравен сердцу ее. «Довольно пожили мы в каменном дворце твоём, – говорили они, – поели хлеба-соли твоей и меду сладкого не одну бочку опорожнили; время возвратиться нам во свои страны, к отцам, матерям и родным сестрам. *Царь добрый человек!* Мы хотим ведать, кто из нас будет зятем твоим». Царь отвечал им сими словами: «Любезные гости! Если бы вы и несколько лет прожили во дворце моем, то, конечно бы, не наскучили хозяину, но не хочу удерживать вас против воли вашей и пойду теперь же к Царевне. Не могу ни в чем принуждать ее; но кого она выберет, тот получит за нею в приданое все царство мое и будет моим сыном и наследником». Царь пошел в терем к дочери своей. Она сидела за пядь-цами и шила золотом, но, увидев родителя, встала и поцеловала руку его. Он сел подле нее и сказал ей словами ласковыми: «Милая, разумная дочь моя, *прекрасная Царевна!* Ты знаешь, что у меня нет детей, кроме тебя, света очей моих; род наш должен царствовать и в будущие веки: пора тебе о женихе думать. Давно живут у нас царевичи и прельщаются красотою твоею, выбери из них супруга, дочь моя, и утешь отца своего!» Царевна долго сидела в молчании, потупив в землю голубые глаза свои; наконец подняла их и устремила на родителя, тут две блестящие слезы скатились с алых щек ее, подобно двум дождевым каплям, свеваемым с розы дуновением зефира. «Любезный родитель мой! – сказала она нежным голосом. – Будет мне время горевать замужем. Ах! И птички любят волю, а замужняя женщина не имеет ее. Теперь я живу и радуюсь; нет у меня ни забот, ни печали; думаю только о том, чтобы угождать моему родителю. Не могу ничем опорочить царевичей, но позволь, позволь мне остаться в девическом моем тереме!» *Царь добрый человек* прослезился. «Я нежный отец, а не тиран твой, – отвечал он Царевне, – благоразумные родители могут *управлять* склонностями детей своих, но не могут ни возбуждать, ни переменять оных; так искусный кормчий управляет кораблем, но не может сказать тишине: *превратися в ветер!* Или восточному ветру: *будь западным!*» *Царь добрый человек* обнял дочь свою, вышел к принцам и сказал им с печальным видом и со всевозможною учтивостью, что *прекрасная Царевна* ни для кого из них не хочет оставить девического своего терема. Все царевичи приуныли, призадумались и повесили свои головы, ибо всякий из них надеялся быть супругом *прекрасной Царевны*. Один утирался белым платком, другой глядел в землю, третий закрывал глаза рукою, четвертый щипал на себе платье,

пятый стоял, прислонясь к печке, пятый смотрел себе на нос, подобно индийскому брамину, размышляющему о естестве души человеческой, шестой... Но что в сию минуту делал шестой, седьмой и прочие, о том молчат летописи. Наконец, все они вздохнули, – так сильно, что едва не затряслись каменные стены, – и томным голосом принесли хозяину благодарность за угощение. В одно мгновение белые шатры перед дворцом исчезли, царевичи сели на коней и с грусти помчались во весь дух, каждый своею дорогою; пыль поднялась столбом и опять легла на свое место.

В царском дворце стало все тихо и смирно, и *Царь добрый человек* принялся за обыкновенное дело свое, которое состояло в том, чтобы править подданными, как отец правит детьми, и распространять благоденствие в подвластной ему стране, – дело трудное, но святое и приятное! Однако ж у хлебосола редко бывает без гостей, и скоро по отъезде принцев приехал к царю странствующий астролог, гимнософист, маг, халдей, в высокой шапке, на которой изображены были луна и звезды, прожил у него несколько недель, водил за стол *прекрасную Царевну*, как должно учтивому кавалеру, пил и ел по-философски, то есть за пятерых, и беспрестанно говорил об умеренности и воздержании. Царь обходился с ним ласково, расспрашивал его о происшествиях света, о звездах небесных, о рудах подземных, о птицах воздушных и находил удовольствие в беседе его. К чести сего странствующего рыцаря должно сказать, что он имел многие исторические, физические и философические сведения, и сердце человеческое было для него не совсем *тарабарскою грамотою*, то есть он знал людей и часто угадывал по глазам самые сокровеннейшие их чувства и мысли. В нынешнее время называли бы его – не знаю чем, но в тогдашнее называли мудрецом. Правда, что всякий новый век приносит с собою новое понятие о сем слове. Сей мудрец, собравшись, наконец, ехать от *Царя доброго человека*, сказал ему сии слова: «В благодарность за твою ласку (*и за твой хороший стол*, – мог бы он примолвить), – открою тебе важную тайну, важную для твоего сердца. *Царь добрый человек!* Ничто не скрыто от моей мудрости, не сокрыта от нее и душа твоей дочери, *прекрасной Царевны*. Знай, что она любит и хочет скрывать любовь свою. Растение, цветущее во мраке, прозябает и лишается красоты своей; любовь есть цвет души. Я не могу сказать более. Прости!» Он пожал у Царя руку, вышел, сел на осла и поехал в иную землю.

Царь добрый человек стоял в изумлении и не знал, что думать о словах мудрецовых: верить ли им или не верить, как вдруг явилась Царевна, поздравила отца своего с добрым утром и спросила, спокойно ли спал он в прошедшую ночь? «Очень беспокойно, любезная дочь моя! – отвечал *Царь добрый человек*. – Душу мою тревожили разные неприятные сны, из которых один остался в моей памяти. Мне казалось, что я вместе со многими людьми пришел к дикой пещере, в которой смертные узнавали будущее. Всякий из нас желал о чем-нибудь спросить судьбу; всякий по очереди входил в сумрачный грот, освещенный одною лампадою, и писал на стене вопрос, через минуту на том же месте огненными буквами изображался ответ. Я хотел знать, скоро ли будут у меня милые внучата? И к ужасу моему, увидел сии слова: *может быть, никогда*. Рука моя дрожала, но я написал еще другие вопросы: *Разве у дочери моей каменное сердце? Разве она никогда любить не будет?* Последовал другой ответ: *она уже любит, но не хочет открыть любви своей и крушится втайне*. Тут слезы покатились из глаз моих; тронутое мое сердце излилось в нежных жалобах на тебя, *прекрасная Царевна!* Чем я заслужил такую неискренность, такую недоверенность? Будет ли отец врагом любезной своей дочери? Могу ли противиться сердечному твоему выбору, милая Царевна? Не всегда ли желания твои были мне законом? Не бросался ли я на старости лет моих за тою бабочкою, которую ты хвалила? Не собственною ли рукою поливал я те цветочки, которые тебе нравились?» Тут Царевна заплакала, схватила руку отца своего, поцеловала ее с жаром, сказала: «*Батюшка! Батюшка!*» – взглянула ему в глаза и ушла в свой терем.

«Итак, мудрец сказал мне правду, – размышлял *Царь добрый человек*, – она не могла скрыть своего внутреннего движения. Жестокая! Думал ли я... И для чего таить? Для чего

было не сказать, который из царевичей пленил ее сердце? Может быть, он не так богат, не так знатен, как другие; но разве мне надобны богатства и знатность? Разве мало у меня серебра и золота? Разве он не будет славен по жене своей? Надобно все узнать». Он в ту же минуту решился идти к *прекрасной Царевне*, подошел к дверям ее терема и услышал голос мужчины, который говорил: «Нет, *прекрасная Царевна!* Никогда отец твой не согласится признать меня зятем своим!» Сердце родителя сильно затрепетало. Он растворил дверь... Но какое перо опишет теперь его чувства? Что представилось глазам его? Безобразный придворный карла, с горбом наперед, с горбом назад, обнимал Царевну, которая, проливая слезы, осыпала его страстными поцелуями! Царь окаменел. *Прекрасная Царевна* бросилась перед ним на колени и сказала ему твердым голосом: «Родитель мой! Умертви меня или отдай за любезного, милого, бесценного карлу! Никогда не буду супругою другого. Душа моя живет его душою, сердце мое его сердцем. В жизни и в смерти мы неразлучны». Между тем карла стоял покойно и смотрел на царя с почтением, но без робости. Царь долго был неподвижен и безгласен. Наконец, воскликнув: «*Что я вижу? Что слышу?*», упал на кресла. Царевна обнимала его колени. Он взглянул на нее так, что прекрасная не могла снести сего взора и потупила глаза в землю. «*Ты, ты...*» – голос его перервался. Он посмотрел на карлу, вскочил, хлопнул дверью и ушел.

«Как, как могла *прекрасная Царевна* полюбить горбатого карлу?» – спросит, или не спросит, читатель. Великий Шекспир говорит, что причина любви бывает без причины: хорошо сказано для поэта! Но психолог тем не удовольствуется и захочет, чтобы мы показали ему, каким образом родилась сия склонность, по-видимому невероятная. Древние летописи, в объяснение такого нравственного феномена, говорят следующее:

Придворный карла был человек отменно умный. Видя, что своенравная натура произвела его на свет маленьким уродцем, решился он заменить телесные недостатки душевными красотою, стал учиться с величайшею прилежностью, читал древних и новых авторов и, подобно афинскому ритору Демосфену, ходил на берег моря говорить волнам пышные речи, им сочиняемые. Таким образом скоро приобрел он сие великое, сие драгоценное искусство, которое покоряет сердца людей и самого нечувствительного человека заставляет плакать и смеяться, то дарование и то искусство, которым фракийский орфей пленял и зверей, и птиц, и леса, и камни, и реки, и ветры – *красноречие!* Сверх того, он имел приятный голос, играл хорошо на арфе и гитаре, пел трогательные песни своего сочинения и мог прекрасным образом оживлять полотно и бумагу, изображая на них или героев древности, или совершенство красоты женской, или кристальные ручейки, осеняемые высокими ивами и призывающие к сладкой дремоте утомленного пастуха с пастушкой. Скоро слух о достоинствах и талантах чудного карлы разнесся по всему городу и всему государству. Все искали его знакомства: и старые, и молодые, и мужчины, и женщины – одним словом, умный карла вошел в превеликую моду. Важная услуга, оказанная им отечеству... Но о сем будет говорено в другом месте.

Когда *прекрасной Царевне* было еще не более десяти или двенадцати лет от роду, умный карла ходил к ней в терем сказывать сказки о благодетельных феях и злых волшебниках, под именами первых описывал он святые добродетели, которые делают человека счастливым, под именами последних гибельные пороки, которые ядовитым дыханием своим превращают цветущую долину жизни в юдоль мрака и смерти. Царевна часто проливала слезы, слушая горестные похождения любезных принцев и принцесс, но радость сияла на прекрасном лице ее, когда они, преодолев наконец многочисленные искушения рока, в объятиях любви наслаждались всею полнотою земного блаженства. Любя повести красноречивого карлы, неприметно любила она и повествователя, и проницательные глаза ее открыли в нем самом те трогательные черты милой чувствительности, которые украшали романтических его героев. Сердце ее делало, так сказать, нежную привычку к его сердцу, у которого научилось оно чувствовать. Самая наружность карлы стала ей приятна, ибо сия наружность была в глазах ее образом прекрасной души; и скоро показалось царевне, что тот не может быть красавцем, кто ростом выше

двадцати пяти вершков и у кого нет наперед и назади горба. Что принадлежит до нашего героя, то он, не имея слепого самолюбия, никак не думал, чтобы Царевна могла им плениться, а потому и сам был почти равнодушен к ее прелестям, ибо любовь не рождается без надежды. Но когда в минуту живейшей симпатии прекрасная сказала ему: «*Я люблю тебя!*», когда вдруг открылось ему поле такого блаженства, о котором он прежде и мечтать не осмеливался, тогда в душе его мгновенно вспыхнули глубоко таившиеся искры. В восторге бросился он на колени перед Царевною и воскликнул в сладостном упоении сердца: *ты моя!* Правда, что он скоро образумился, вспомнил высокий род ее, вспомнил себя и закрыл руками лицо свое, но Царевна поцеловала его и сказала: «*Я твоя или ничья!*» Девическая робость не позволяла ей открыться родителю в своей страсти.

«Сия любовь *прекрасной Царевны* хотя и к умному, но безобразному карле, – говорит один из насмешников тогдашнего времени, – приводит на мысль того царя древности, который смертельно влюбился в лягушечьи глаза и, созвав мудрецов своего государства, спросил у них, что всего любезнее? “*Цветущая юность*”, – отвечал один по долгом размышлении; “*Красота*”, – отвечал другой; “*Науки*”, – отвечал третий; “*Царская милость*”, – отвечал четвертый с низким поклоном, и так далее. Царь вздохнул, залился слезами и сказал: “*Нет, нет! Всего любезнее – лягушечьи глаза!*”»

Теперь обратимся к нашей повести. Мы сказали, что *Царь добрый человек* хлопнул дверью и ушел из царевнина терема, но не сказали куда. Итак, да будет известно читателям, что он ушел в свою горницу, заперся там один, думал, думал и наконец призвал к себе карлу, потом *прекрасную Царевну*, говорил с ними долго и с жаром, но как и что, о том молчит история.

На другой день было объявлено во всем городе, что *Царь добрый человек* желает говорить с народом, и народ со всех сторон окружил дворец, так что негде было пасть яблоку. Царь вышел на балкон, и когда восклицания: «*Да здравствует наш добрый государь!*» умолкли, спросил у своих подданных: «*Друзья, любите ли вы Царевну?*» Тысячи голосов отвечали: «*Мы обождаем прекрасную!*»

Царь. Желаете ли, чтобы она избрала себе супруга?

Тысячи голосов. Ах! Желаем сердечно! Он должен быть твоим наследником, Царь добрый человек! Мы станем любить его, как тебя и дочь твою любим.

Царь. Но довольны ли вы будете ее выбором?

Тысячи голосов. Кто мил Царевне, тот мил и твоим подданным!

В сию минуту поднялся на балконе занавес, явилась *прекрасная Царевна* в снегоцветной одежде, с распущенными волосами, которые, как златистый лен, развевались на плечах ее, взглянула, как солнце, на толпы народные, и миллионы диких людей покорились бы сему взору. Карла стоял подле нее, спокойно и величаво смотрел на волнующийся народ, нежно и страстно на Царевну. Тысячи восклицали: «*Да здравствует прекрасная!*»

Царь, указывая на карлу, сказал: «Вот он, тот, кого Царевна вечно любить клянется и с кем хочет она соединиться навеки!»

Все изумились, потом начали жужжать, как шмели, и говорили друг другу: «*Можно ли, можно ли... То ли нам послышалось? Как этому быть? Она прекрасна, она царская дочь, а он карла, горбат, не царский сын!*»

«*Я люблю его*», – сказала Царевна, и после сих слов карла показался народу почти красавцем.

«Вы удивляетесь, – продолжал *Царь добрый человек*, – но так судьбе угодно. Я долго думал и наконец даю свое благословение. Впрочем, вам известно, что он имеет достоинства; не забыли вы, может быть, и важной услуги, оказанной им отечеству. Когда варвары под начальством гигантского царя своего, как грозная буря, приближались к нашему государству; когда серп выпал из рук уstraшенного поселянина и бледный пастух в ужасе бежал от стада своего, тогда юный карла, один и безоружен, с масличною ветвию явился в стане неприятельском и

запел сладостную песнь мира; умиление изобразилось на лицах варварских, царь их бросил меч из руки своей, обнял песнопевца, взял ветвь его и сказал: *«Мы друзья!»* Потом сей грозный гигант был мирным гостем моим, и тысячи его удалились от страны нашей. «Чем наградить тебя?» – спросил я тогда у юного карлы. *«Твоей милостию, –* отвечал он с улыбкою. – *Теперь...»*

Тут весь народ в один голос воскликнул: *«Да будет он супругом прекрасной Царевны! Да царствует над нами!»*

Торжественная музыка загремела, загремели хоры и гимны, *Царь добрый человек* сложил руки любовников, и бракосочетание совершилось со всеми пышными обрядами.

Карла жил долго и счастливо с прекрасною своею супругою. Когда *Царь добрый человек*, после деятельной жизни, скончался блаженною смертию, то есть заснул, как утомленный странник при шуме ручейка на зеленом лугу засыпает, тогда зять его в венце сапфино-рубиновом и с золотым скипетром воссел на высоком троне и обещал народу царствовать с правдою. Он исполнил обет свой, и беспристрастная история назвала его одним из лучших владык земных. Дети его были прекрасны, подобно матери, и разумны, подобно родителю.

1792

К. Н. Батюшков. Предслава и Добрыня

Старинная повесть

Древний Киев утопал в веселии, когда гонец принес весть о победе над печенегами. Скачет всадник за всадником, и последний возвещает приближение победоносного войска. Шумными толпами истекают киевцы чрез врата северные; радостный глас цевниц и восклицаний народных раздается по холмам и долинам, покрытым снегом и веселою апрельскою зеленью. Пыльное облако уже показалось в отдалении: оно приблизилось, рассеялось и обнажило стальные доспехи и распущенные стяги войска, пылающие от лучей утреннего солнца. Владимир, счастливый Владимир ведет рать свою, и красные девы сыпят перед конем его цветы и травы весенние. В устройстве ратном проходит дружина, тихо и торжественно, ряд за рядом, и шумные толпы восторженных киевцев беспрерывно восклицают: *«Да здравствует победитель печенегов, храбрый Владимир!»*

Герой, по обычаю древнему, преклонил меч свой к земле, благосклонно поклонился народу и сказал богатырским голосом: «Честь и слава Добрыне! Он избавитель мой!» Богатырь, сидящий на борзом коне своем, отрешил златую запону забрала, снял шелом и открыл голову перед народом и Владимиром – в знак почтения и благодарности. Слезы блистали в очах его; черные кудри, колеблемые дыханием ветра, развевались по плечам, и правая рука его лежала на сердце. Восторженные киевляне снова воскликнули: «Честь и слава Добрыне и всей дружине русской!» Цветы посыпались на юношу из разных кошниц прекрасных жен и дев киевских, и эхо разнесло по благоуханной долине, где видны были развалины храма, посвященного вечно юной Зимцерле: *«Честь и слава дружине!»*

Супруга Владимира, прекрасная царевна Анна, и дочь ее, Предслава, выходят навстречу к великому князю. Он простирает к ним свои руки, попеременно прижимает к стальной броне, под которой билось нежное сердце, то супругу, то дочь свою, и все труды ратные забыты в сию сладкую минуту свидания! Владимир указывает им на Добрыню: «Вот избавитель мой! – говорит он, обращаясь к супруге, к царедворцам и седовласым мудрецам греческим, притекшим с царевною из Цареграда. – Вот избавитель мой! – продолжает великий князь. – Когда единоборство с исполином печенегским кончилось победою, когда войска мои ринулись вослед бегущим врагам, тогда я, увлеченный победою, скакал по грудам тел и вторгся в толпу отчаянных врагов. Мечи их засверкали надо мною, стрелы пробили шелом и щит; смерть была неизбежна. Но Добрыня рассеял толпы врагов, вторгся в средину ужасной сечи: он спас меня! Чем и как заплачу ему?»

Слезы благодарности заблестали в очах прекрасной Анны; она подала супругу своему и Добрыне правую и левую руку и повела их по узорчатым коврам в высокий терем княжеский. Предслава взглянула на Добрыню, и ланиты ее запылали, подобно алой заре пред утренним солнцем; и длинные ресницы ее покрылись влагою, – как у стыдливой девы, взглянувшей на жениха своего при блеске брачных светильников.

Прекрасна ты была, княжна киевская! Осененная длинною фатою, ты была подобна стыдливому месяцу, когда он сквозь тонкий туман смотрит на безмолвные долины и на синий Днепр, сверкающий в просеках дубовых. Но отчего сильно бьется девическое сердце твое под парчами и златою дымкою? Отчего белая грудь твоя волнуется, как лебедь на заливах Черного моря, когда полуденный ветер расколыхает воды его? Отчего глаза твои блистают огнем, когда они невольно обращаются на прекрасного витязя?

Ах, и Добрыня давно любил тебя! Давно носил твой образ в сердце, в пламенной груди своей, покрытой тщетно стальною кольчугою! Повсюду образ твой, как тайный призрак, за ним следовал: и на потешных играх, где легкие копыта ломаются в честь красных жен и дев

киевских, и на войне против ляхов и половцев, на страшных битвах, где стрелы свистят, как вихри, и острые мечи, ударяя по шеломам, наносят глубокие раны. Давно уже богатырь любил красавицу; но никогда не являлась она ему столь прелестною, как в сии минуты славы и радостей народных. Тщетная любовь, источник слез и горести! Все разлучает тебя с возлюбленной: и высокий сан ее, и слава Владимира, и слава предков красавицы, повелителей Царяграда!

Ты знаешь сие, несчастный Добрыня, знаешь и – любишь. Но сердце твое чуждо радостей, чело твое мрачно посреди веселий и торжеств народных. Как дерево, которого соки погибли от морозов и непогод зимних, не воскресает с весною, не распускает от вешнего дыхания молодых листков и почек, но стоит уныло посреди холмов и долин бархатных, где все нежится и пирует: так и ты, о витязь, часто мрачен и безмолвен стоишь посреди шумной гридницы, опершись на булатное копьё. Все постыло для тебя: и красная площадь, огражденная высоким тыном (поприще словутых подвигов), и столы дубовые, на которых блещут кубки и золотые чары с медом искрометным и заморскими винами; все постыло для тебя: турий рог недвижим в руке богатырской, и унылые взоры твои ничем не прельщаются, ниже плясками юных гречанок¹, подруг Предславиных, которые, раскинув черные кудри свои по плечам, подобным в белизне снегам Скандинавии, и сплетясь рука с рукою, увеселяют слух и взоры Владимира разнообразными хороводами и нежным, протяжным пением. Они прекрасны, подруги Предславины... Но что звезды вечерние перед красным месяцем, когда он выходит из-за рощей в величии и в полной славе?

Долго ли таиться любви, когда она взаимна, когда все питает ее, даже самая робость любовников? Когда сердца подобны двум ручьям, которые невольно, как будто влекомые тайною силою, по покатам долин и отлогих холмов ищут друг друга, сливаются воедино, и дружные воды их составляют единую реку, тихую и прозрачную, которая по долгом и счастливом течении исчезает в морях неизмеримых. Счастливы они, если не найдут преграды в своем течении!

Так красавица и рыцарь невольно, неумышленно прочитали во взорах, в молчании и в словах отрывистых, им одним понятных, взаимную страсть. Они не видели под цветами ужасной пропасти, навеки их разлучающей, ибо она засыпана была руками двух сильных волшебниц, руками *любви* и *надежды*! Предслава не помышляла об опасности. Добрыня тогда только ужасался своей страсти, тогда только сердце его заливалось кровью, когда прекрасная Анна, мать его возлюбленной, обращала к нему приветливую речь или когда Владимир выхвалял послам чуждых народов силу и храбрость своего избавителя. Юноша страшился неблагодарности.

Терем молодой княжны был отделен от высоких теремов Владимира. Длинные деревянные переходы, украшенные резьбой, соединяли сии здания. Вековые дубы, насаженные руками отважного Кия, – как говорит предание, – осеняли уединенную обитель красавицы. Часто весенние вечера она просиживала на высоком крыльце, опершись рукою на дубовые перилы; часто взоры ее стремились в синюю даль, где высокие холмы величественно возвышались один над другим, не приметно сливались с небесной лазурью; часто, отдалив усердных прислужниц, одна среди безмолвия ночного, она предавалась сладким мечтаниям девического сердца, мечтаниям, которые невольно украшались образом Добрыни. Когда месяц осребрял высокие верхи дубов и кленов и тихое дыхание полночи колебало листья, перебирая их один после другого, тогда Предславу обнимал ужас. Ей мечталось видеть Добрыню. Она вперяла прилежно слух и взоры; но все было тихо, безмолвно, мечта исчезала, а с ней и тайный, но сладостный страх. Так молодая княжна питала тоску и любовь свою, когда Добрыня воевал печенегов с великим

¹ Известно по истории, что в княжение Владимира I находилось множество греков при его дворе. Скажем мимоходом, что мы не позволяли себе больших отступлений от истории, но просим читателя не забыть, что повесть не летопись. Здесь вымысел позволен. Относительно к басням *rien n'est beau que le vrai, le vrai seul est aimable* (Только истинное прекрасно, любезна одна только истина) (*франц.*). Принимается в другом значении. (*Здесь и далее примечание авторов.*)

князем Владимиром. Она переносилась мысленно на поля, обагрённые кровью: опасности, окружающие отца ее, ужасали сердце красавицы; но при мысли, что Добрыня падёт под мечом или булавою варвара, сердце ее обливалось кровью, тяжко поднималась высокая грудь и слёзы падали обильною росой на златошвейные ткани.

Теперь сии деревянные переходы, осенённые тению столетних дубов, сия тайная обитель невинности, учинилась свидетельницею ее радости. Страстный витязь позабыл и страх, и благодарность: все забыто, когда сердце любит. Витязь, в часы туманной полуночи, приходил к княжне и там, у ног ее, поверял ей сердечную тоску и мучения, клялся в верности и утопал в счастии. Но любовники были скромны. Тих и ясен ручей при истоке, но скоро, возрастая собственными водами, становится быстр, порывист, мутен. Такова любовь при рождении, таковы и наши любовники.

Между тем все народы покорялись великому князю. И воинственные жители Дуная, и дикие хорваты, сыны густых лесов и пустыней, и печенеги, пьющие вино из черепов убитых врагов на сражении, – все платили дань христианскому владыке. Народы стран северных, жители туманных берегов Варяжского моря, обитатели неизмеримой и бесплодной Биармии, страшились и почитали Владимира. Многие владельцы желали вступить в брак с Предслагою, желали, но тщетно, ибо они были все служители идолов или поклонники Магомета.

Часто на холмах, окружающих Киев, неизвестный витязь становил златоглавый шатер и вызывал на единоборство богатырей киевских. Ристалище открывалось, и пришлец, почти всегда побеждённый, со стыдом удалялся в свое отечество. Витязи иноплеменные ежедневно увеличивали двор Владимиров. Меж ними блистали красотой и храбростью Горислав Ляхский, юноша прекрасный, как солнце весеннего утра, храбрый Стефан Угорский и сильный Андроник Чехский, покрытый косматой кожей медведя, которого он задавил собственными руками в бесплодных пустынях, орошенных Вислою. Все они требовали руки Предславиной, все состязались с богатырями киевскими и угощаемы были под богатыми наметами гостеприимным Владимиром. «Не наживу друзей серебром и золотом, – говорил он, – нет, а друзьями наживу, по примеру деда и отца моего, сокровища и славу!»

Но ужасная туча собиралась над главами наших любовников. *Радмир*, сын князей болгарских, владыка христианского поколения, спешит заключить союз с народом русским и тайно требует руки Предславиной. Владимир принимает богатые дары его и дает ласковый ответ посланнику болгарскому: Радмир вскоре является на берегах днепровских. Десять ставок, одна другой богаче, блистают при восходе солнечном, и сии ставки принадлежат Радмиру, который, окруженный блистательною толпою витязей дунайских, вступает в терема княжеские. Вид его был величествен, но суров; взоры пронизательны, но мрачны; стройный стан его был препоясан искривленным мечом; руки обнажены; грудь покрыта легкою кольчугой, а вниз ramen висела кожа ужасного леопарда. Предслава увидела незнакомца, и сердце ее затрепетало от тайного предчувствия. Невольный румянец, заменяемый смертною бледностью, обнажал страсти, волнуящие грудь красавицы. Взоры ее искали Добрыни, который, безгласен, бледен стоял в толпе царедворцев; но надменный Радмир толковал в свою пользу явное смущение красавицы и, ободренный своим заблуждением: «Повелитель земли Русской, – сказал он, – тебе известны храбрые поколения болгаров, населяющих обильные берега Дуная. Меч храбрых славен не один раз притуплялся о сие железо (*указывая на свой меч*); не один раз лилась кровь обоих народов, народов равно славных и воинственных, от которых трепетал и Запад, и поколения северные: ибо где неизвестна храбрость болгар и славян! Храбрые россы унизили надменные стены Царяграда: ты рассеял в прах стены корсунские. Мечом предков моих избиты бесчисленные полчища греков, ими выжжен град, носивший имя древнего Ореста. Мудрые предки мои приняли веру истинного Бога², и ты, Владимир, отверг служение идолов, и ты капища

² Болгары были магометанского исповедания, но не все, ибо император Михаил, победив их, принудил принять христи-

претворил во храмы. Я желаю твоего союза, о повелитель земли Русской! Соединенные народы наши воедино удивят подвигами вселенную, расширят за Урал пределы твоего владычества... У твоего знамени будут сражаться мои воины. Меч мой будет твоим мечом... Но да введу в дом престарелого отца моего твою дочь, да назову Предславу супругою!.. Владимир, я ожидаю благосклонного ответа!»

Царедворцы и молодые витязи русские с негодованием взирали на гордого Радмира: они с нетерпением ожидали решительного отказа. Но те из них, которые поседели не на поле ратном, а в служении *гридницы*, лучше знали сердце своего владыки: они прочитали во взорах его совершенное согласие, и хитрая их улыбка одобрила речь надменного Радмира. Решительность в битвах, пылкая храбрость и дух величия болгарского владыки, дух, алкающий славы и подвигов, давно были известны Владимиру; гордые слова, гордый и величавый вид его напоминали ему о годах его юности, и, наконец, союз двух народов, доселе неприязненных, но равно храбрых и сильных, союз двух народов, скрепленных браком Предславы, долженствовал возвеличить княжество Русское, – и мудрый Владимир подал руку свою в знак согласия. Красавица, безмолвна, бледна, как жертва, обреченная року, склонясь на руку прекрасной Анны, робкими, медленными шагами приближалась к своему отцу, который подал ей *чашу пиришества*, исполненную сладкого меда. Совершается древний обряд праотцев: жених принимает чашу из рук стыдливой невесты и выпивает до дна сладостный напиток.

Десять дней сряду солнце киевское освещает радушные пиры в теремах княжеских. Десять дней сряду все торжествует и радуется. Но красавица проливает слезы на лоно матери: единственное утешение в горести! Часто ужасная тайна готова вылететь из груди ее и всегда замирает на робких устах. Анна приписывает к нежности сердечной тоску дочери своей, и слезы ее текут с слезами красавицы. Но гордый Радмир, познавший в первый раз любовь, близок проникнуть ужасную тайну. С негодованием взирает на слезы и силится подавить в глубине сердца своего ужасную страсть – ревность, спутницу пламенной любви.

Между тем настает великий день, посвященный играм богатырским. При восходе лучезарного солнца голос бранной трубы раздается в заповедных лугах, и на возвышенном месте, устланном коврами вавилонскими (похищенными при взятии Корсуня), возвышается высокий намет княжеский. Там восседает Владимир с супругою и прекрасною Предславой. Там, под другими шатрами, заседают старцы и жены киевские. Из них старейшины называются судьями *тризны*, ибо награда *храброго* искони принадлежала мудрости и красоте. Народ стекается за ставками, и бесчисленные толпы его покрывают ближние возвышения. Посреди ратного места пешие и конные витязи ожидали знака для начатия игр. Грозный Роальд, витязь Новгородский, возвышался меж ними, как древний дуб посреди низкого кустарника. Юный Переяслав, богатырь низкого рода, но низвергнувший разъяренного вола, Переяслав, победивший исполина печенегов, гордился чудесною силою. Он был пеш; кожа безобразного зверя, им растерзанного, развевалась на широких его раменах. Тяжелая секира, которую и три воина нашего века едва ли поднять могут, лежала на правом плече богатыря. Он ожидал борца и громким голосом вызывал на поединок всех витязей, вызывал – тщетно! Всякой страшится неестественной его силы. Гордый Свенальд, древле пришедший с отлогих берегов озера Нево, Свенальд, воевода Владимиров, являлся в толпе витязей в броне вороненой, в железном шеломе, на котором ветер развевал широкие крылья орлиные. Израненная грудь его, на которой струилась седая брада, черный шлем, исполинское копье и щит величины необычайной напоминали киевцам о товарище отважного Святослава. Но меж вами, о витязи, находилась славная воительница, притекшая с берегов баснословного Термодона³. Высокая грудь ее, где розы сочетались со свежими

анскую веру (смотри Нестора). Они же разорили Адрианонополь, носивший в древности имя основателя своего Ореста (и об этом упоминает Нестор).

³ Конечно, Царь-девица.

лилиями, грудь ее, подобная двум холмам чистейшего снега, покрыта была легкою тканью. Черные волосы красавицы, едва удержанные златою повязкой, развевались волною по плечам, за которыми звенел резной тул, исполненный стрел. Нетерпеливый конь ее, легкий как ветер, был покрыт кожей ужасного леопарда; ноги его воздымали облако праха; златые бразды его, омоченные пеною, громко звенели, и он, казалось, гордился своею всадницею. Меч, кованный в Дамаске, блистал в правой руке ее, а левая покрыта была щитом серебра литого. Все в ней обличало деву, и гибкий стан, подобный пальме или стеблю лилейному, и маленькая нога, обутая в багряный полусапог; но рука ее – о страх врагам и дерзким витязям! Киевцы, пораженные новым для них зрелищем, громко выхваляли красавицу, и сердце, гордое сердце девицы, сильно билось от радости.

Но Добрыня явился, и все взоры на него обратились, и ланиты Предславы запылали розами. Витязь вошел в толпу, одетый тонким панцирем, на котором блистала голубая повязка, тайный подарок его любезной. Белые перья развевались на его шеломе. Меч-кладенец висел на широком поясе у левой бедра. По поданному знаку из шатра княжеского юные гридни подвели ему коня, на котором Владимир воевал в молодости. Давно уже никто не седлал его, давно уже на свободе топтал он траву в заповедных лугах киевских. Предание говорит, что конь сей был некогда посвящен Световиду и имел дар пророчества⁴. В знак дружбы своей Владимир его отдает витязю. Добрыня смело вложил ногу в златое стремя; конь почувствовал седока, преклонил смиренно дикую свою голову и радостным ржанием огласил луга и долины.

Знак был подан старейшинами, и взоры устремились на высокую мету, поставленную на конце поприща. К ней был привязан быстрокрылый сокол. Стрелки отделились, и в числе их прекрасная воительница. Златый лук зазвенел в ее руках, и стрела помчалась по воздуху; но тщетное острие ударилось о дерево, зашаталось, и уstraшенная птица затрепетала крыльями. Юный Горислав вынул каленую стрелу, и пернатая, пущенная из сильных рук его, рассекла воздух пламенною стезею. Так пролетает молния или звезда воздушная по синему небу! Стрела перерезала нити, которыми был привязан сокол, и птица, свободная от уз, быстро полетела над главами зрителей. Добрыня натягивает лук свой, пускает меткую стрелу... И сокол лежит у ног Предславы, и народ восклицает: «Честь и слава Добрыне!» А сердце красавицы утопало в веселии.

Изводят на поприще дикого вола, воспитанного на пажитях Черкасских: ужасная глава его, вооруженная крутыми рогами, поникла к земле; взоры дикие и мутные обращены были на толпу, которая раздалась в ту и другую сторону. Андроник, дерзкий витязь, желая разъярить чудовище, вонзил в ребра его легкое копье; острие впилося, древко зашаталось, и черная кровь хлынула рекою. Разъяренный вол бросается на толпу; тяжелые ноги его вздымают к небесам облако праха и пыли; пышет черный дым, искры сыплются из глубоких его ноздрей, и страшный рев, подобный грому, оглушает уstraшенных зрителей. Между тем отрок Переяслав исторгается из толпы и сильными мышцами ухватывает за рога дикого зверя. Начинается ужасная борьба. Трижды разъяренный вол опрокидывал богатыря и давил его своею громадою; трижды богатырь опрокидывал зверя, и ноги его, подобные столбам тяжелого здания, глубоко входили в песок. Наконец храбрый юноша, уже близкий к погибели, вскакивает на хребет его, обхватывает жилистыми руками... и чудовище, изрыгая ручьи кровавой пены, падает бездыханно. Богатырь, покрытый пылью и потом, одним махом секиры своей отрубает ужасную голову чудовища, приподымает ее за крутые рога и бросает к ставке княжеской. Прекрасные княжны ужаснулись, а киевцы, удивленные сим новым и чудесным зрелищем, провозглашают богатыря победителем.

⁴ Конь бога Световида имел дар пророчества. Смотри «Мифологию славян» г. Кайсарова.

Радмир, сохраняя глубокое молчание, стоял близ ставки княжеской. Он желает сорвать пальму победы, требует позволения войти в толпу *храбрых* и в тайне сердца своего полагает совершить победу над Добрынею.

Начинаются игры не менее опасные, но в которых сила и храбрость должны уступить искусству; всадники разделяются на две стороны; каждый из них выбирает соперника; Радмир назначил Добрыню, и витязь благословляет сей выбор! В руках его и жизнь, и слава соперника; в руках Предславы награда победителю – золотой кубок, чудо искусства греческих художников.

Разъезжаются по широкой равнине: легкие кони летят, как вихри, один навстречу другому, копыта ударились в щиты. Добрыня удвоит удары, и Радмир, простертый на земле, глотает пыль и прах! Русский витязь покидает коня своего, меч сверкает в руке болгара, удары сыплются на доспехи любовника Предславы, звонкие иверны летят с кольчуги, – мщение и гнев владеют рукою витязей, равно храбрых и искусных... Но Владимир подает знак – *и витязи остановились*.

Ибо внезапно воздух помрачился тучами. Зашумели вихри, и гром трижды ударил над главами зрителей. Сердца малодушных жен и старцев, которые втайне поклонялись мстительному Чернобогу, исполнились ужасом. Празднество кончилось; мечи и копыта витязей опустились долу; но дождь и снег беспрестанно шумели и наполняли внезапными ручьями путь и окрестную равнину. Порывистый вихрь сорвал воткнутые древки и разметал далеко наметы княжеские. Народ укрывался под развалинами древних капищ и толпами бежал к городу. Анна прижала к груди своей Предславу и робкою, но поспешною стопою, ведомая Владимиром и окруженная верными гриднями, удалялась в терем свой. Гласы бегущего народа, топот скачущих по полям всадников, свист разъяренных вихрей, дождь, падающий реками, – все сие устрашало прекрасную княжну. Омоченные власы рассыпались по высокому челу ее, вихрь сорвал легкие покровы с главы, дыхание ее прерывалось от скорого бега, и она, изнемогая, почти бездыханная, упала на пути, в дальнем расстоянии от Киева. Анна и Владимир спешили к ней на помощь, и Радмир предложил ей коня своего. Сердце Добрыни, в свою очередь, запылало ревностью: он желал бы сам проводить княжну, желал бы... Тщетное желание! Ненавистный болгар, жених ее, он один имеет сие право. Между тем служитель Радмиров подводил коня за звучащие бразды; Предслава приближалась к нему... Она увидела беспокойство Добрыни, прочитала в глазах витязя глубокую печаль его, и горестный вздох вылетел из груди прекрасной девицы. Жених ей подал свою руку... О, счастье! Нетерпеливый конь, уstraшенный шумною толпою, вырвался из рук клеветы и стрелою исчез в мраке. Болгарский князь, снедаемый гневом, бросился вслед за ним: тщетны были его старания, и ревность на крилах ветра заставила его возвратиться к Предславе. Но Добрыня, по приказанию Владимира, сидел уже на коне с княжною; уже борзый конь вихрем уносил счастливую чету, и великое пространство поля отделяло любовников от ревнивца. Сладкие минуты для Добрыни! Красавица обнимала его лилейными руками, сердце ее билось, билось так близко его сердца; нежная грудь ее прикасалась к стальной кольчуге, дыхание ее смешивалось с его дыханием (ибо витязь беспрестанно обращал к ней голову свою), и лицо ее, омоченное холодными ручьями дождя и снега, разгорелось, как сильное пламя... Конь мчался вихрем... И витязь в первый раз в жизни сорвал продолжительный, сладостный поцелуй с полуотверстых уст милой всадницы. Гибельный поцелуй! Он разлился, как огонь, глубоко проник в сердце и затмил светлые очи красавицы облаком любви и сладострастия. Она невольно преклонила голову свою на плечо витязя, подобно нежному маку, отягченному излишними каплями майской росы. Благовонные власы ее, развеваемые дыханием ветров, касались ланит счастливого любовника; он осыпал их сладкими поцелуями, осушал их своим дыханием, и упоение обоих едва ли кончилось, когда быстрый конь примчался к терему Владимира, когда он трижды ударил нетерпеливым копытом о землю, и прислужницы княжеские вышли им навстречу с пылающими светильниками.

Владимир возвратился в высокие терема и там нашел печальную и бледную Предславу. Ах, если б мать ее, которой ласковые руки осушали омоченные волосы дочери, если б мать знала, какая буря свирепствовала в ее сердце, отчего лилии покрыли бледностью чело и ланиты, отчего высокая грудь красавицы столь томно волнуется под покрывами!!!

Но вскоре княжна, окруженная подругами, скрылась в терем свой, ибо глубокая ночь уже давно покрывала землю. Добрыня, увлеченный любовью, забыв и долг, и собственную безопасность, Добрыня, пользуясь ночным мраком, поспешил к терему красавицы. Все началось вкушать сон в чертогах княжеских, но буря не умолкала. Ужасно скрипели древние дубы, осеняющие мирную обитель красоты, и град шумел беспрестанно, падая на деревянный кров терема. Тусклый свет ночной лампы едва мерцал сквозь густые ветви, и богатырь, стоящий на сырой земле, сохранял глубокое молчание. Он желал отличить образ Предславы, мелькающий в окнах терема, приблизился и увидел ее. Там, в тайном уединении, освещенная лучом лампы, являлась она посреди своих прислужниц, подобно деве, посвященной служению *Знича*, подобно жрище, когда она в глубокую ночь, уклонившись в Муромские убежища, медленно приближается к жертвеннику, на котором пылает неугасимое пламя, медленно снимает перед тайным божеством девственные покровы и совершает неисповедимые обряды.

Как билось сердце твое, храбрый юноша, когда красавица, отдалив подруг, отрешила узлы таинственных покровов! Как билось сердце твое, несчастный и вместе счастливейший из смертных, когда рука ее обнажила белую грудь, подобную двум глыбам чистейшего снега, когда волосы ее небрежно рассыпались, по высокому челу и по алебастровым плечам! Нет, не в силах язык человеческий изобразить страстей, пылающих в груди нашего рыцаря! Но вы, пламенные любовники, перенеситесь мыслями в те времена страстей и блаженства, когда случай или любовь, властительница мира (ибо и случай ей покорствуется), когда любовь открывала пред вами свои таинства; вы, счастливы, можете чувствовать блаженство Добрыни!

Робкий голос его называл имя *Предславы*, и ветер трижды заглушал его. Наконец красавица услышала: встревоженная, приблизилась к окну и при бледном луче светильника узнала его. Долго смотрела она, как ветер развеивал черные его кудри, как снег сыпался медленно на открытую голову возлюбленного; долго в недоумении глядела она... и наконец, сожаление (предание говорит: любовь), владея робкою рукой, тихонько отодвинула железные притворы терема – и витязь упал к ее ногам! «Что ты делаешь? – сказала прекрасная. – Что ты делаешь, несчастный? Беги от меня, сокройся, пока мстительный бог... Ах, я навеки твоей не буду! Небо разлучает нас». – «Люди разлучают нас, – прервал ее Добрыня, – люди разлучают два сердца, созданные одно для другого в один час, под одной звездой, созданные, чтобы утопать в блаженстве или глубоко, глубоко лежать в сырой земле, но лежать вместе, неразлучно!» – «Удались, заклинаю тебя...» – «Ах, Предслава, ты моя навсегда... Жених твой, сей болгар, должен упасть от меча храброго!» – «Ах, что ты хочешь предпринять? А судьба матери моей, а гнев, неукротимый гнев великого князя?..» – «Так, Предслава: я вижу, ты меня не любишь. Брак с повелителем обильных стран дунайских льстит твоему честолюбию. Вероломная женщина, ты не любишь Добрыни, ты забыла священнейший долг, клятвы любовны... Но смерть мне остается в награду за верность!..»

Сияющий меч висел на бедре героя, правая рука его лежала на золотой рукояти; но Предслава, слабая и вместе великодушная, Предслава бросилась в его объятия; горячие слезы текли из глаз ее, слезы любви, растворенные сердечною тоскою. Любовники долго безмолвствовали. Сама любовь запечатлевала стыдливые уста красавицы: вскоре слезы сладострастия заблистали, как перлы, на длинных ее ресницах, розы запыхали на щеках, грудь, изнемогая под бременем любви, едва, едва волновалась, и прерывистый, томный вздох, подобный шептанию майского ветерка, засыпающего на цветах, вылетел из груди ее, вылетел... и замер на пламенных устах любовника.

Быстро мчится время на крылах счастья; любовь осыпает розами своих любимцев, но время прикосновением хладных крыл своих вскоре и самые розы сладострастия превращает в терны колючие! Все безмолвствовало в обители красавицы. Светильник, догорая, изредка бросал пламень свой... и она проснулась от очарования среди мрака бурной ночи. Напрасно витязь прижимал печальную к груди своей, напрасно пламенные уста его запечатлевали тихое, невольное роптание: рука ее трепетала в руке любовника, слезы лились обильными ручьями, и хладный ужас застудил последний пламень в крови печальной любовницы.

Наконец горестный поцелуй прощания соединил на минуту души супругов. Красавица вырвалась из объятий витязя. Добрыня надвинул сияющий шлем свой, открыл двери терема, ведущие на длинные переходы... О, ужас!.. Он увидел, при сумнительном блеске месяца, который едва мелькал сквозь облако, увидел ужасный призрак... вооруженного рыцаря! – и сердце его, незнакомое со страхом, затрепетало – не за себя, за красавицу. Предслава упала бездыханная на праг светлицы. Но меч уже сверкал в руке незнакомца, страшный голос его раздавался во мраке: «*Вероломные, мщение и смерть!*» Добрыня, лишенный щита и брони, вооруженный одним шлемом и острым мечом своим, тщетно отбивал удары: тайный враг нанес ему тяжелую рану, и кровь ударилась ручьями. Богатырь, пылая мщением, поднял меч свой обеими руками; незнакомец уклонился – удар упал на перилы; щепы и искры посыпались, столпы здания зашатались в основаниях, и сердце незнакомца исполнилось ужасом. Красавица, пробужденная от омрака, бросилась в объятия Добрыни; тщетно дрожащая рука ее удерживала его руку, тщетно слезы и рыдания умоляли соперника: ревность и мщение кипели в лютom его сердце. Он бросился на Добрыню, и витязь, прижав к окровавленной груди своей плачущую супругу, долго защищал ее мечом своим. От частых ударов его разбился шлем соперника, иверни падали с кольчуги, гибель его была неизбежна... Но правая нога изменяет несчастному Добрыне, он скользит по помосту, омоченному ручьями дождя и крови, несчастный падает, защищая красавицу, и хладный меч соперника трижды по самую рукоять впирается в его сердце.

Светильники, принесенные уstraшенными девами, стекающимися из терема, осветили плачевное зрелище... Радмир (ибо это был он, сей незнакомец, завлеченный ревностью к терему Предславы), Радмир довершал свое мщение. Добрыня, плавая в крови своей, устремил последний, умирающий взор свой на красавицу; улыбка, печальная улыбка, потухла в очах его, и имя Предславы вместе с жизнью замерло на устах несчастного.

Нет ни жалоб, ни упрека в устах красавицы. Нет слез в очах ее. Хладна как камень, безответна как могила, она бросила печальный, умоляющий взор на притекшего Владимира, на отчаянную мать и, прижав к нагой груди своей сердце супруга, пала бездыханная на оледенелый его труп... как лилия, сорванная дыханием непогод, как жертва, обреченная любви и неизбежному року.

Насилу досказал!

1810 года. Августа. Деревня

И. В. Киреевский. Опал

Волшебная сказка

Царь Нурредин шестнадцати лет взошел на престол сирийский. Это было в то время, когда, по свидетельству Ариоста, дух рыцарства подчинил все народы одним законом чести и все племена различных исповеданий соединил в одно поклонение красоте.

Царь Нурредин не без славы носил корону царскую; он окружил ее блеском войны и побед и гром оружия сирийского разнес далеко за пределы отечественные. В битвах и поединках, на пышных турнирах и в одиноких странствиях, среди мусульман и неверных – везде меч Нурредина оставлял глубокие следы его счастья и отважности. Имя его часто повторялось за круглым столом двенадцати Храбрых, и многие из знаменитых сподвижников Карла носили на бесстрашной груди своей повесть о подвигах Нуррединовых, начертанную четкими рубцами сквозь их порубленные брони.

Так удачею и мужеством добыл себе сирийский царь и могущество, и честь; но оглушенное громом брани сердце его понимало только одну красоту – опасность и знало только одно чувство – жажду славы, неутолимую, беспредельную. Ни звон стаканов, ни песни трубадуров, ни улыбки красавиц не прерывали ни на минуту однообразного хода его мыслей; после битвы готовился он к новой битве; после победы искал он не отдыха, но задумывался о новых победах, замышлял новые труды и завоевания.

Несмотря на то, однако, раз случилось, что Сирия была в мире со всеми соседями, когда Оригелл, царь китайский, представил мечу Нурредина новую работу. Незначительные распри между их подданными дошли случайно до слуха правителей; обида росла взаимностью, и скоро смерть одного из царей стала единственным честным условием мира.

Выступая в поход, Нурредин поклялся головою и честью перед народом и войском: до тех пор не видать стен дамасских, покуда весь Китай не покорится его скипетру и сам Оригелл не оплатит своею головою за обиды, им нанесенные. Никогда еще Нурредин не клялся понапрасну.

Через месяц все области китайские, одна за другою, поклонились мечу Нурредина. Победенный Оригелл с остатком избранных войск заперся в своей столице. Началась осада.

Не находя средств к спасению, Оригелл стал просить мира, уступая победителю половину своего царства. Нурредин отвечал, что со врагами не делится, – и осада продолжается.

Войско Оригеллово ежедневно убывает числом и упадает духом; запасы приходят к концу; Нурредин не сдается на самые униженные просьбы.

Уныние овладело царем китайским; всякий день положение Оригелла становится хуже; всякий день Нурредин приобретает новую выгоду. В отчаянии китайский царь предложил Нурредину все свое царство Китайское, все свои владения Индийские, все права, все титулы, с тем только, чтобы ему позволено было вывезти свои сокровища, своих жен, детей и любимцев. Нурредин оставался неумолимым, – и осада продолжается.

Наконец, видя неизбежность своей гибели, Оригелл уступает все: и сокровища, и любимцев, и детей, и жен – и просил только о жизни. Нурредин, припомнив свою клятву, отверг и это предложение.

Осада продолжается ежедневно сильнее, ежедневно неотразимее. Готовый на все, китайский царь решился испытать последнее, отчаянное средство к спасению – чародейство.

В его осажденной столице стоял огромный старинный дворец, который уже более века оставался пустым, потому что некогда в нем совершено было ужасное злодеяние, столь ужасное, что даже и повесть о нем исчезла из памяти людей; ибо кто знал ее, тот не смел повторить другому, а кто не знал, тот боялся выслушать.

Оттого преданье шло только о том, что какое-то злодеяние совершилось и что дворец с тех пор оставался нечистым. Туда пошел Оригелл, утешая себя мыслию, что хуже того, что будет, не будет.

Посреди дворца нашел он площадку; посреди площадки стояла палатка с золотою шишечкой; посреди палатки была лестница с живыми перильцами; лестница привела его к подземному ходу; подземный ход вывел его на гладкое поле, окруженное непроходимым лесом; посреди поля стояла хижина; посреди хижины сидел Дервиш и читал Черную Книгу. Оригелл рассказал ему свое положение и просил о помощи.

Дервиш раскрыл Книгу Небес и нашел в ней, под какою звездою Нурредин родился, и в каком созвездии та звезда, и как далеко отстоит она от подлунной земли.

Отыскав место звезды на небе, Дервиш стал отыскивать ее место в судьбах небесных и для того раскрыл другую книгу, Книгу Волшебных Знаков, где на черной странице явился перед ним огненный круг: много звезд блестело в кругу и на окружности, иные внутри, другие по краям; Нуррединова звезда стояла в самом центре огненного круга.

Увидев это, колдун задумался и потом обратился к Оригеллу с следующими словами:

«Горе тебе, царь китайский, ибо непобедим твой враг и никакие чары не могут преодолеть его счастья; счастье его заключено внутри его сердца, и крепко создана душа его, и все намерения его должны исполняться; ибо он никогда не желал невозможного, никогда не искал несбыточного, никогда не любил небывалого, а потому и никакое колдовство не может на него действовать!»

«Однако, – продолжал Дервиш, – я мог бы одолеть его счастье, я мог бы опутать его волшебствами и наговорами, если бы нашлась на свете такая красавица, которая могла бы возбудить в нем такую любовь, которая подняла бы его сердце выше звезды своей и заставила бы его думать мысли невыразимые, искать чувства невыносимого и говорить непостижимое; тогда бы мог я погубить его».

«Еще мог бы я погубить его тогда, когда бы нашелся в мире такой старик, который бы пропел ему такую песню, которая бы унесла его за тридевять земель в тридесятое государство, куда звезды садятся».

«Еще мог бы я погубить его тогда, когда бы в природе нашлось такое место, с горами, с пригорками, с лесами, с долинами, с реками, с ущельями, такое место, которое было бы так прекрасно, чтобы Нурредин, засмотревшись на него, позабыл хотя на минуту обыкновенные заботы текущего дня».

«Тогда мои чары могли бы на него действовать».

«Но на свете нет такой красавицы, нет в мире такого старика, нет такой песни и нет такого места в природе».

«Поэтому Нурредин погибнуть не может».

«А тебе, китайский царь, спасенья нет и в чародействах».

При этих словах чернокнижника отчаянье Оригелла достигло высшей степени, и он уже хотел идти вон из хижины Дервиша, когда последний удержал его следующими словами:

«Погоди еще, царь китайский! Еще есть одно средство погубить твоего врага. Смотри: видишь ли ты звезду Нуррединову? Высоко, кажется, стоит она на небе; но, если ты захочешь, мои заклинанья пойдут еще выше. Я сорву звезду с неба; я привлеку ее на землю; я сожму ее в искорку; я запру ее в темницу крепкую, – и спасу тебя; но для этого, государь, должен ты поклониться моему владыке и принести ему жертву подданническую».

Оригелл согласился на все. Трын-трава закурилась, знак начерчен на земле, слово произнесено, и обряд совершился.

В эту ночь, – войска отдыхали и в городе и в стане, – часовые молча ходили взад и вперед и медленно перекликались; вдруг какая-то звездочка сорвалась с неба и падает, падает – по темному своду, за темный лес; часовые остановились: звезда пропала – куда? Неизвестно;

только там, где она падала, струилась еще светлая дорожка, и то на минуту; опять на небе темно и тихо; часовые опять пошли своею указною дорогою.

Наутро оруженосец вошел в палатку Нурредина:

«Государь! Какой-то монах с горы Араратской просит видеть светлое лицо твое; он говорит, что имеет важные тайны сообщить тебе».

«Впусти его!»

«Чего хочешь ты от меня, святой отец?»

«Государь! Шестьдесят лет не выходил я из кельи, в звездах и книгах испытывая премудрость и тайны создания. Я проник в сокровенное природы; я вижу внутренность земли и солнца: будущее ясно глазам моим; судьба людей и народов открыта передо мною!...»

«Монах! Чего хочешь ты от меня?»

«Государь! Я принес тебе перстень, в котором заключена звезда твоя. Возьми его, и судьба твоя будет в твоих руках. Если ты наденешь его на мизинец левой руки и взглядишься в блеск этого камня, то в нем предстанет тебе твое счастье; но там же увидишь ты и гибель свою, и от тебя одного будет зависеть тогда твоя участь, великий государь...»

«Старик! – прервал его Нурредин, – если все сокровенное открыто перед тобой, то как же осталось для тебя тайною то, что давно известно всему миру? Может быть, только ты один не знаешь, столетний отшельник, что судьба Нурредина и без твоего перстня у него в руках, что счастье его заключено в мече его. Не нужно мне другой звезды, кроме той, которая играет на этом лезвии, – смотри, как блещет это железо и как умеет оно наказывать обманщиков!...»

При этом слове Нурредин схватил свой меч; но когда обнажил его, то старый монах был уже далеко за палаткою царскою, по дороге к неприятельскому стану. Через несколько минут оруженосец снова вошел в ставку Нурредина:

«Государь! Монах, который сейчас вышел от тебя, возвращался опять. Он велел мне вручить тебе этот перстень и просит тебя собственными глазами удостовериться в истине его слов».

«Где он? Приведи его сюда!»

«Оставя мне перстень, он тотчас же скрылся в лесу, который примыкает к нашему лагерю, и сказал только, что придет завтра».

«Хорошо. Оставь перстень здесь и, когда придет монах, пусти его ко мне».

Перстень не блестел богатством украшений. Круглый опал, обделанный в золоте просто, тускло отливал радужные краски.

«Неужели судьба моя в этом камне? – думал Нурредин. – Завтра вернее узнаешь ты свою судьбу от меня, дерзкий обманщик!...» И между тем царь надевал перстень на мизинец левой руки и, смотря на переливчатый камень, старался открыть в нем что-нибудь необыкновенное.

И в самом деле, в облачно-небесном цвете этого перстня был какой-то особенный блеск, которого Нурредин не замечал прежде в других опалах. Как будто внутри его была спрятана искорка огня, которая играла и бегала, то погасала, то снова вспыхивала и при каждом движении руки разгоралась все ярче и ярче.

Чем более Нурредин смотрел на перстень, тем яснее отличал он огонек и тем прозрачнее делался камень. Вот огонек остановился яркою звездочкой, глубоко внутри опала, которого туманный блеск разливался внутри ее, как воздух вечернего неба, слегка подернутого легкими облаками.

В этом легком тумане, в этой светлой, далекой звездочке было что-то неодолимо привлекательное для царя сирийского; не только не мог он отвести взоров от чудесного перстня, но, забыв на это время и войну и Оригелла, он всем вниманием и всеми мыслями утонул в созерцании чудесного огонька, который, то дробясь на радугу, то опять сливаясь в одно солнышко, вырастал и приближался все больше и больше.

Чем внимательнее Нурредин смотрел внутрь опала, тем он казался ему глубже и бездоннее. Мало-помалу золотой обручик перстня превратился в круглое окошечко, сквозь которое сияло другое небо, светлее нашего, и другое солнце, такое же яркое, лучезарное, но как будто еще веселее и не так ослепительно.

Это новое небо становилось беспрестанно блестящее и разнообразнее; это солнце все больше и больше; вот оно выросло огромное надземного, еще ярче и еще торжественнее, и хотя ослепительно, но все ненаглядно и привлекательно; быстро катилось оно ближе и ближе; или, лучше сказать, Нурредин не знал, солнце ли приближается к нему или он летит к солнцу.

Вот новое явление поражает его напряженные чувства: из-под катящегося солнца исходит глухой и неясный гул, как бы рев далекого ветра, или как стон умолкающих колоколов; и чем ближе солнце, тем звонче гул. Вот уж слух Нурредина может ясно распознать в нем различные звуки: будто тысячи арф разнострунными звонами сливаются в одну согласную песнь; будто тысячи разных голосов различно строятся в одно созвучие, те умирая, те рождаясь, и все повинувшись одной, разнообразно переливчатой, необъятной гармонии.

Эти звуки, эти песни проникли до глубины души Нурредина. В первый раз испытал он, что такое восторг. Как будто сердце его, дотоле немое, пораженное голосом звезды своей, вдруг обрело и слух и язык; так, как звонкий металл, в первый раз вынесенный на свет рукою искусства, при встрече с другим металлом потрясается до глубины своего состава и звенит ему звуком ответным. Жадно вслушиваясь в окружающую его музыку, Нурредин не мог различить, что изнутри его сердца, что извне ему слышится.

Вот прикатившееся солнце заслонило собою весь круглый свод своего неба; все горело сиянием; воздух стал жарок, и душен, и ослепителен; музыка превратилась в оглушительный гром; но вот – пламя исчезло, замолкли звуки, и немое солнце утратило лучи свои, хотя еще не переставало расти и приближаться, светя холодным сиянием восходящего месяца. Но, беспрестанно бледнея, скоро и это сияние затмилось; солнце приняло вид земли, и вот – долетело... ударило... перевернулось... и – где земля? Где перстень?.. Нурредин, сам не ведая как, очутился на новой планете.

Здесь все было странно и невиданно: горы, насыпанные из граненых бриллиантов; огромные утесы из чистого серебра, украшенные самородными рельефами, изящными статуями, правильными колоннами, выросшими из золота и мрамора. Там ослепительные беседки из разноцветных кристаллов. Там роща, и прохладная тень ее исполнена самого нежного, самого упоительного благоухания. Там бьет фонтан вином кипучим и ярким. Там светлая река тихо плескается о зеленые берега свои; но в этом плесканье, в этом говоре волн есть что-то разумное, что-то понятное без слов, какой-то мудреный рассказ о несбыточном, но бывалом, какая-то сказка волшебная и заманчивая. Вместо ветра здесь веяла музыка; вместо солнца здесь светил сам воздух. Вместо облаков летали прозрачные образы богов и людей; как будто снятые волшебным жезлом с картины какого-нибудь великого мастера, они, легкие, вздымались до неба и, плавая в стройных движениях, купались в воздухе.

Долго сирийский царь ходил в сладком раздумье по новому миру, и ни взор его, ни слух ни на минуту не отдыхали от беспрестанного упоения. Но посреди окружавших его прелестей невольно в душу его теснилась мысль другая: он со вздохом вспоминал о той музыке, которую, приближаясь, издавала звезда его; он полюбил эту музыку так, как будто она была не голос, а живое создание, существо с душою и с образом; тоска по ней мешалась в каждое его чувство, и услышать снова те чарующие звуки стало теперь его единственным, болезненным желанием.

Между тем в глубине зеленого леса открылся перед ним блестящий дворец, чудесно слитый из остановленного дыма. Дворец, казалось, струился, и волновался, и переливался, и, несмотря на то, стоял неподвижно и твердо в одном положении. Прозрачные колонны жемчужного цвета были увиты светлыми гирляндами из розовых облаков. Дымчатый портик возвышался стройно и радужно, красуясь грацией самых строгих пропорций; огромный свод казался

круглым каскадом, который падал во все стороны светлую дугою, без реки и без брызгов: все во дворце было живо, все играло, и весь он казался летучим облаком, а между тем это облако сохраняло постоянно свои строгие формы. Крепко забилося сердце Нуррединово, когда он приблизился ко дворцу: предчувствие какого-то неиспытанного счастья занимало дух и томило грудь его. Вдруг растворились легкие двери, и в одежде из солнечных лучей, в венце из ярких звезд, опоясанная радугой, вышла девица.

«Это она!» – воскликнул сирийский царь. Нурредин узнал ее. Правда, под туманным покрывалом не было видно ее лица; но по гибкому ее стану, по ее грациозным движениям и стройной поступи разве слепой один мог бы не узнать на его месте, что эта девица была та самая Музыка Солнца, которая так пленила его сердце.

Едва увидела девица сирийского царя, как в ту же минуту обратилась к нему спиною, и, как бы испугавшись, пустилась бежать вдоль широкой аллеи, усыпанной мелким серебряным песком. Царь за нею.

Чем ближе он к ней, тем шибче бежит девица, и тем более царь ускоряет свой бег.

Грация во всех ее движениях; волосы развеялись по плечам; быстрые ножки едва оставляют на серебряном песке свои узкие, стройные следы; но вот уж царь недалеко от нее; вот он настиг ее, хочет обхватить ее стройный стан, – она мимо, быстро, быстро... как будто Грация обратилась в Молнию; легко, красиво... как будто Молния обернулась в Грацию.

Девица исчезла; царь остался один, усталый, недовольный. Напрасно искал он ее во дворце и по садам: нигде не было и следов девицы. Вдруг из-за куста ему повеяло музыкой, как будто вопрос: зачем пришел ты сюда?

«Клянусь красотой здешнего мира, – отвечал Нурредин, – что я не с тем пришел сюда, чтобы вредить тебе, и не сделаю ничего противного твоей воле, прекрасная девица, если только выйдешь ко мне и хотя на минуту откроешь лицо свое».

«Как пришел ты сюда?» – повеяла ему та же музыка. Нурредин рассказал, каким образом достался ему перстень, и едва он кончил, как вдруг из тенистой беседки показалась ему та же девица; и в то же самое мгновение царь очнулся в своей палатке.

Перстень был на его руке, и перед ним стоял хан Арбаз, храбрейший из его полководцев и умнейший из его советников. «Государь! – сказал он Нурредину, – покуда ты спал, неприятель ворвался в наш стан. Никто из придворных не смел разбудить тебя; но я дерзнул прервать твой сон, боясь, чтобы без твоего присутствия победа не была сомнительна».

Суровый, разгневанный взгляд был ответом министру, нехотя опоясал Нурредин свой меч и тихими шагами вышел из ставки.

Битва кончилась. Китайские войска снова заперлись в стенах своих; Нурредин, возвратясь в свою палатку, снова загляделся на перстень. Опять звезда, опять солнце и музыка, и новый мир, и облачный дворец, и девица. Теперь она была с ним смелее, хотя не хотела еще поднять своего покрывала.

Китайцы сделали новую вылазку. Сирийцы опять отразили их; но Нурредин потерял лучшую часть своего войска, которому в битве уже не много помогала его рука, бывало неодолимая. Часто в пылу сражения сирийский царь задумывался о своем перстне, и посреди боя оставался равнодушным его зрителем, и, бывши зрителем, казалось, видел что-то другое.

Так прошло несколько дней. Наконец царю сирийскому наскучила тревога боевого стана. Каждая минута, проведенная не внутри опала, была ему невыносима. Он забыл и славу, и клятву: первый послал Оригеллу предложение о мире и, заключив его на постыдных условиях, возвратился в Дамаск; поручил визирям правление царства, заперся в своем чертоге и под смертною казнию запретил своим царедворцам входить в царские покои без особенного повеления.

Почти все время проводил Нурредин на звезде, близ девицы; но до сих пор еще не видал он ее лица. Однажды, тронутая его просьбами, она согласилась поднять покрывало; и той кра-

соты, которая явилась тогда перед его взорами, невозможно выговорить словами, даже магическими, и того чувства, которое овладело им при ее взгляде, невозможно вообразить даже и во сне. Если в эту минуту сирийский царь не лишился жизни, то, конечно, не оттого, чтобы люди не умирали от восторга, а, вероятно, потому только, что на той звезде не было смерти.

Между тем министры Нуррединовы думали более о своей выгоде, чем о пользе государства. Сирия изнемогала от неустroйств и беззаконий. Слуги слуг министровых утесняли граждан; почеты сыпались на богатых; бедные страдали; народом овладело уныние, а соседи смеялись.

Жизнь Нурредина на звезде была серединою между сновидением и действительностью. Ясность мыслей, святость и свежесть впечатлений могли принадлежать только жизни наяву; но волшебство предметов, но непрерывное упоение чувств, но музыкальность сердечных движений и мечтательность всего окружающего уподобляли жизнь его более сновидению, чем действительности. Девушка Музыка казалась также слиянием двух миров. Душевное выражение ее лица, беспрестанно изменяясь, было всегда согласно с мыслями Нурредина, так что красота ее представлялась ему столько же зеркалом его сердца, сколько отражением ее души. Голос ее был между звуком и чувством: слушая его, Нурредин не знал, точно ли слышит он музыку или все тихо и он только воображает ее? В каждом слове ее находил он что-то новое для души, а все вместе было ему каким-то счастливым воспоминанием чего-то дожитенного. Разговор ее всегда шел туда, куда шли его мысли, так как выражение лица ее следовало всегда за его чувствами; а между тем все, что она говорила, беспрестанно возвышало его прежние понятия, так как красота ее беспрестанно удивляла его воображение. Часто, взявшись рука с рукою, они молча ходили по волшебному миру; или, сидя у волшебной реки, слушали ее волшебные сказки; или смотрели на синее сияние неба; или, отдыхая на волнистых диванах облачного дворца, старались собрать в определенные слова все рассеянное в их жизни; или, разостлав свое покрывало, девушка обращала его в ковер-самолет, и они вместе улетали на воздух, и купались, и плавали среди красивых облаков; или, поднявшись высоко, они отдавались на волю случайного ветра, и неслись быстро по беспредельному пространству, и уносились, куда взор не дойдет, куда мысль не достигнет, и летели, и летели так, что дух замирал...

Но положение Сирии беспрестанно становилось хуже, и тем опаснее, что в целой Азии совершились тогда страшные перевороты. Древние грады рушились; огромные царства колебались и падали; новые возникали насильственно; народы двигались с мест своих; неизвестные племена набегали неизвестно откуда; пределов не стало между государствами; никто не верил завтрашнему дню; каждый дрожал за текущую минуту; один Нурредин не заботился ни о чем. Внутренние неустroйства со всех сторон открыли Сирию внешним врагам; одна область отпадала за другою, и уже самые близорукые умы начинали предсказывать ей близкую гибель.

«Девушка! – сказал однажды Нурредин девушке Музыке. – Поцелуй меня!»

«Я не могу, – отвечала девушка, – если я поцелую тебя, то лишусь всего отличия моей прелести и красотой своей сравняюсь с обыкновенными красавицами подлунной земли. Есть, однако, средство исполнить твоё желание, не теряя красоты моей... оно зависит от тебя... послушай: если ты любишь меня, отдай мне перстень свой; блестя на моей руке, он уничтожит вредное действие твоего поцелуя».

«Но как же без перстня приду я к тебе?»

«Как ты теперь видишь мою землю в этом перстне, так я тогда увижу в нем твою землю; как ты теперь приходишь ко мне, так и я приду к тебе», – сказала девушка Музыка, и, одной рукою снимая перстень с руки Нурредина, она обнимала его другою. И в то мгновение, как уста ее коснулись уст Нуррединовых, а перстень с его руки перешел на руку девушки, в то мгновение, продолжавшееся, может быть, не более одной минуты, новый мир вдруг исчез вместе с девушкой, и Нурредин, еще усталый от восторга, очутился один на мягком диване своего дворца.

Долго ждал он обещанного прихода девицы Музыки; но в этот день она не пришла; ни через два, ни через месяц, ни через год. Напрасно рассылал он гонцов во все концы света искать Араратского отшельника; уже и последний из них возвратился без успеха. Напрасно истощал он свои сокровища, скупая отовсюду круглые опалы; ни в одном из них не нашел он звезды своей.

«Для каждого человека есть одна звезда, – говорили ему волхвы, – ты, государь, потерял свою, другой уже не найти тебе!»

Тоска овладела царем сирийским, и он, конечно, не задумался бы утопить ее в студеньях волн своего золотопесчаного Бардинеза, если бы только вместе с жизнью не боялся лишиться и последней тени прежних наслаждений – грустного, темного наслаждения: *вспоминать* про свое солнышко!

Между тем тот же Оригелл, который недавно трепетал меча Нуррединона, теперь сам осаждал его столицу. Скоро стены дамасские были разрушены, китайское войско вломилось в царский дворец, и вся Сирия вместе с царем своим подпала под власть китайского императора.

«Вот пример коловратности счастья, – говорил Оригелл, указывая полководцам своим на окованного Нурредина, – теперь он раб и вместе с свободой утратил весь блеск прежнего имени. Ты заслужил свою гибель, – продолжал он, обращаясь к царю сирийскому, – однако я не могу отказать тебе в сожалении, видя в несчастье твоем могущество судьбы еще более, чем собственную вину твою. Я хочу, сколько можно, вознаградить тебя за потерю твоего трона. Скажи мне: чего хочешь ты от меня? О чем из утраченного жалеешь ты более? Который из дворцов желаешь ты сохранить? Кого из рабов оставить? Избери лучшие из сокровищ моих, и, если хочешь, я позволю тебе быть моим наместником на прежнем твоем престоле!»

«Благодарю тебя, государь! – отвечал Нурредин, – но из всего, что ты отнял у меня, я не жалею ни о чем. Когда дорожил я властью, богатством и славою, умел я быть и сильным и богатым. Я лишился сих благ только тогда, когда перестал желать их, и недостойным попечения моего почитаю я то, чему завидуют люди. Суета все блага земли! Суета все, что обольщает желания человека, и чем пленительнее, тем менее истинно, тем более суета! Обман все прекраснее, и чем прекраснее, тем обманчивее; ибо лучшее, что есть в мире, это – мечта».

30 декабря 1830 г.

Москва

О. М. Сомов. Сказка о Никите Вдовиниче

Начинается сказка от сивки, от бурки, от вещей каурки; рассказывается не сзади, а спереди, не как дядя Селиван тулуп надевал. А эта сказка мною не выдумана, из старых лык не выплетена и заново шелком не выстрочена: мне ее по летним дням да по осенним ночам рассказывал Савка-Журавка долгоног, железный нос.

Савка-Журавка по двору ходит, черным глазом поводит, с ноги на ногу переступает, долгую шею через плетень перегибает, острым носом друга и недруга допекает. А как крыльями встрепенется да звонким голосом озовется: «Курлы-курлы!» – так у всякого и ушки на макушке, и слюнка изо рта потечет... Савка-Журавка голосную песню затягивает, умную речь заговаривает и такую сказку рассказывает... *курлы-курлы!*

Во славном городе во Чухломе жила-была старушка горемычная, вдова человека посадского, а имя ей Улита Минеевна. Муж ее Авдей Федулов, не тем покойник-свет будь помянут! Большой был гуляка: торг повести да на счетах раскинуть не его было дело; а пиры пировать да именины справлять – его подавай. Так и все свои животы прогулял да пропил, а не в добрый час и его самого подняли мертвого в царевом кружале под лавкою. Бедная вдова после его смерти обливала горячими слезами не столько могилу своего друга сердечного, сколько свое вдовье платье и сиротские недоимки. Не было у нее, что называется, чем собаки из двора выманить; а которых крох не растерял покойный ее сожитель, и те пошли по его же душе, на похороны да на поминки. Худо быть человеку семейному горьким пьяницей: и перед Богом грешит, и людей смешит, и чужой век заедает.

Не на радость остался и сынок бедной вдове горемычной, единое ее детище, Никита: и тот по отцу пошел. Пить не пришла еще ему пора, потому что после отца он остался молоденец, годов о двенадцати; зато к работе его, бывало, не присадишь. Мать бедная перебивалась кое-как своими трудами, из того кормила его и одевала; а он только с утра до ночи рыскал по улицам да играл в бабки с чужими ребятами. Этого дела, нечего сказать, был он мастер; а как, по пословице, *всякое дело мастера боится*, то и бабки словно его боялись и слушались. Не выискивалось еще молодца, кто б обыграл Никиту Вдовинича: такое в насмешку дали ему на улице прозвание вместо Никиты Авдеича.

Никитино уменье не полюбилось соседним ребятам, которых он день при дне дочиста обыгрывал, так что они не могли у себя напасть бабок. Не раз они щипали Вдовинича за его удачу и однажды стакнулись ворваться всей гурьбой к нему в дом и отъемом отнять у него все бабки. Шепнул ли кто Никите, сам ли он догадался, – только он как-то об этом спроведал. «Постой же! – молвил он сам про себя. – Я упрячу мои бабки в такое место, куда из этих сорванцов ни один не посмеет просунуть нос». Сказано и сделано: как наступила ночь, Никита Вдовинич собрал все свои бабки, склал их в запол и снес на кладбище. Там отыскал он могилу своего отца и принялся рыть в ней яму, чтобы туда спрятать любимую свою потеху до поры до времени. Видно, Никита хоть и слыл дурачком и служил посмешищем всему соседнему миру, а был-таки себе на уме: небось не стал же рыться в чужой могиле! Он смекнул, что и после смерти *свой своему* поневоле друг.

Вот как он раскапывал землю, вдруг послышался ему голос из могилы: «Кто тут?» Никита не оробел и смело ответил: «Я, батюшка!» – «Сын мой любезный, дитя мое милое! Тяжко мне под сырой землей! – простонал ему тот же голос. – А еще мне тяжеле оттого, что тебя с матерью, по грехам моим, покинул при недостатках. Слушай же: я знаю, что тебя вовсе не тянет к работе; ты весь в меня, и личиком и станком, и разумом и умом. Я тебе помогу, детище мое желанное, и вызволю тебя из бедности; только приходи по три ночи сюда, ко мне на могилу, в

глухую полночь, за час – за два до первых петухов. Что бы здесь ни дейлось, не робей; станут играть в бабки – играй, только старайся весь кон сбивать и все бабки к себе забирать. Теперь же покамест ступай себе с богом! Прощай!»

Никита смекнул делом, в какую честную компанию звал его родной батюшка и с какими игроками должно ему было тянуться; однако ж, как малой не трус, он вздумал пойти наудалую и отведать своего счастья. Вот, пришедши домой, молвил он своей матери, Улите Минеевне: «Благослови, государыня матушка, на доброе дело: меня зовут лавочники по три ночи стеречь лавок, а сулят за то гривну медью, да хлеба вволю, да новые рукавицы». Улита Минеевна была рада-радешенька, что Бог надоумил ее детище жить на белом свете трудовой копеечкой; она чуть не прослезилась от доброй вести. Матери за благословеньем не в ларец ходить: не раздумывая, не разгадывая, благословила Улита Минеевна своего Никиту и отпустила его с крестом и молитвой. Только он, вместо лавок, поплелся на кладбище, раскидывая умом-разумом, что-то из этого будет.

Вот и прилег он на отцовской могилке, ни шкнет, ни чихнет и ни ухом поведет. Не спится ему, правду сказать: да ведь батюшка родимый не за сном же и звал его туда. Долго ли, коротко ли было дело, только вдруг подул и пронесся полуночный ветерок по кладбищу и запрыгали огоньки над могилами, словно клады из-под земли выскакивали морочить люд православный, либо затейник какой, стоя на кладбище, сеял по нем гнилушкой. Вдовиничу слышалось, что под землею мертвец мертвеца спросил: «Пора?», а тот ему ответил: «Пора!» И пошла трескотня по могилам: каждый мертвец упирался ногами и руками в гроб, сшибал долой крышку вместе с земляной насыпью и выходил на белый свет в белом саване. И все они сходились на поляну перед кладбищенской часовней, здоровались, кланялись друг другу, будто люди путные из миру крещеного. Никита Вдовинич все лежал по-прежнему и смотрел на такие предивные диковинки; вдруг его невеста что-то отбросило: он скатился с могилы вместе с ворохом земли, и перед ним как лист перед травой очутился его батюшка Авдей Федулович. «Сын мой любезный, дитя мое милое! – возговорил он детищу своему желанному. – Слушай в оба, а не в полтора, что я тебе говорить буду. Наши честные покойники в эту пору встают да от скуки потешаются в бабки; не робей, играй с ними. Если в игре будешь удачлив, так и в житье будешь счастлив и талантлив; а нет – на себя пеняй. Помни же, сын мой любезный, дитя мое милое: что ни есть на кону – все сбивай, ничего не оставляй; особенно в третью ночь почтись и весь последний кон сорви, – не то с тебя сорвут твою буйную головушку. Пуще всего, не робей. Теперь пойдем, благословясь».

Не любо было Никите Вдовиничу слышать, какой был зарок на игре положен; да нечего делать: взявшись за гуж, не ворчи, что не дюж! Вот и пошли они к гурьбе покойников; а там крик, гам, беготня, толкотня, хохотня. Никиту мороз по коже подирал, когда он воззрился да вслушался, что там было. Иной мертвец, вытянув костлявую шею и выставя свой череп из-под савана, страшно скалил зубы и грохотал, как из пустой бочки; видно, по русской поговорке, он и на том свете чужак был покойник: умер, да зубы скалил. Другой – бледен как полотно, глаза как плошки, да не видят ни крошки, стоял да бородой кивал, словно репку жевал; третий, отдувши губы, что-то с посвистом в себя втягивал так, как, не применно будучи, добрый человек тянет чару зелена вина; четвертый... Ну да Бог им судья! Все они были на ту же статью.

Вот и завопила вся гурьба покойников: «Давай в бабки!» Поставили на кон бабок видимо-невидимо, да у каждого было в заполе савана по целому вороху. Опять запрыгали огоньки на могилах, скок да скок – и столпились в два ряда вокруг поляны, что перед часовней, наподобие как, если кто видал из вас, люди добрые, зажигаются плошки для потешных огней по большим праздникам и ими, словно бисером да камнями самоцветными, унижаются городские улицы и площади. Нашему Вдовиничу сызнава стало жутко, когда он с отцом вошел в середину сходбища. Все мертвецы заорали не своим голосом: «Чужой! Чужой!» – как будто собаками на него усыкали. Добро бы тем и кончилось; так нет! Они косились на него глазами, моргали

бровями, щелкали зубами, морщили носы, щетинили усы и кривляли рты, словно не они, а он был покойником. Вот один и подкатился и молвил отцу Никитину: «А ты, дядя Авдей, что ж не играешь в бабки? Поставил бы своего мальчика на кон, авось бы мы его срезали». – «Где вам, мякинникам, со мной тягаться! – ответил Авдей Федулов. – Вот гляди-ка на моего мальчика: он, кажись, и невзрачен, и не нашего еще лесу кочерга, а дайте-ка ему бабки в руки – всех вас за пояс заткнет!» – «Хвастливого с богатым не распознаешь! – завопили мертвецы в один голос. – Не в похвале б сила, а в деле. Ну-ка, ин выпусти своего щенка на наших волков. Только, знаешь: уговор лучше денег. Его выигрыш – его и счастье, а проиграет – головой отвечает; да и ты на свою долю столько добудешь совков да пинков, что всех не уложишь к себе в могилу». – «Ладно! – сказал Авдей Федулов. – Грозите богатому, авось-либо копейку даст; а с меня-то вам взятки гладки». – «Ну-ну! Пустого не болтать и делу не мешать! – крикнул-гаркнул один долгоязыый мертвец, который был у них в игре старостой и уставщиком. – Начинать так начинать; а то вы, пожалуй, и до петухов прокалякаете». – Тут он схватил Никиту за оба плеча, толкнул вперед, уткнул носом чуть не в землю, указал на грудь бабок и примолвил: «Бери, да ставь, да заметывай!» – Никите не любя была такая грубая поведенция, он осерчал; однако прикусил язык, набрал бабок и пустился в игру. Хвать да хвать, глядишь – и весь кон сбил; поставили другой – и тот будто рукою снял; поставили третий – и того как не бывало: не дал мертвецам, что называется, ни росинки подобрать. Дивовались покойники такой удаче и захлопали глазами да заскрыпели зубами пуще прежнего. Никите сдавалось, что ему несдобровать; ан вот как тут по посаду раздалось: «Кукареку!» Никита глядь – ни огоньков, ни мертвецов не стало, могилы заровнялись так, что не было ни следа, ни приметы; с той стороны, откуда солнышко всходит, занималась утренняя заря, и перед нашим Вдовиничем лежала груда сбитых им бабок, чуть не с головой его в уровень. Он подрылся под часовню и туда запрятал свои бабки; видно, отец-батюшка родимый шепнул ему, что тут-де ни мертвый, ни живой их тронуть не посмеет. Еще православные в городе глаз не продрали, а Никита припелся домой, залез на полати и такую дал высыпку, что чуть обеда не проспал.

На другую ночь было ему поваднее идти на кладбище. Опять прилег он на отцовской могиле; опять чуть только повеял полуночный ветерок, заиграли огоньки на могилах, и опять пошла трескотня и хлопотня по кладбищу. Батюшка Никитин, Авдей Федулович, снова встал и повел его на сходбище разгульных покойников, а там по-вчерашнему – крик, гам, беготня, толкотня, хохотня; только уж на этот раз Вдовинич наш не робел и раскланивался что ни с самыми лихими мертвецами, будто со старыми знакомыми. Все вскрикнули, увидя его: «Подавай сюда молодца! Подавай игрока!» – инда гул пошел по кладбищу; а Никита кинулся к своим вчерашним бабкам, набрал их сколько надо было и поставил на кон. Хвать да хвать – бабки валяются, инда пыль столбом идет; глядь-поглядь – трех конов как не бывало. Зашевелилось и загуло племя покойничье, зачесалась буйная головушка у Никиты Вдовинича; а петухи как тут: «Кукареку!» Никита глядь – все по-прежнему: мертвецов не стало, огоньки потухли, могилы заровнялись, а перед ним опять бабок несметная сила. Никита убрал их в свою старую похоронку, под часовню; а сам был таков: прибежал домой, залез на полати и давай отхрапывать, инда бревенчатые переборы задрожали.

Вот наступила и третья ночь. Никита наш соколом полетел к погосту, и уж ему нестерпимо лежать на могиле: так ему слюбилось обыгрывать покойников. «Есть же простяки на том свете! – смекал он про себя. – Да мне их обыграть как пить дать...» Не успел он додумать своей думы про покойников и их простоту, как вдруг, вместо тихого полуночного ветерка, взвыла буря, закрутился вихорь, и пошел дым коромыслом по кладбищу. Благо, что на Никите не было шапки, да и не наживалось; а то бы ее занесло за тридевять земель; чуть и головы-то с него не сорвало. Огоньки лениво выпархивали из могил, и те такие тусклые, что чуть брезжились. Трескотня да возня поднялись по кладбищу, что хоть святых вон неси. Все мертвецы вскакивали как опаренные, встрепывались и бегом бежали на поляну, облизываясь, как кот перед

кусом мяса. Словно нехотя поднялся Вдовиничев батюшка, Авдей Федулович, и повел такую речь с сынком своим: «Сын мой любезный, дитя мое милое! Наши честные покойники на тебя зубы вострят и губы разминают за то, что ты в бабках с них спесь посбил. Смотри же, дитятко мое желанное! Не положи охулки на руку. В эту ночь, а особливо за последним коном, будут тебе всякие помехи и страсти; только ты скрепись и не бойся: гляди зорко, бей метко и старайся пуще всего снять на последнем кону черную бабку; в ней-то вся сила. Кто этой бабкой завладеет, тот чего ни похочет – мигом все у него уродится; надо только знать, как с нею водиться. Коли ты эту бабку сшибешь да к рукам приберешь, так тебе сто́ит только ударить ею оземь да приговаривать: “Бабка, бабка, черная лодыжка! Служила ты басурманскому колдуну Челубею Змеулановичу ровно тридцать три года, теперь послужи мне, доброму молодцу”, а затем и примолвить, чего ты от ней добыть хочешь; вот оно и явится перед тобой, как лист перед травой. Да смотри, береги эту бабку пуще своего глаза: у тебя будут ее выручать всякими хитростями, только ты не давайся в обман». – Тут Авдей Федулович взял сына за руку и повел на поляну. Загула вся ватага мертвецкая, что пчелы в улье: «Давай его, давай!» – а наш Вдовинич и ухом не ведет; набрал бабок, поставил на кон и начал пощелкивать. Только теперь было не по-прежнему: то гром прогремит, то дождь зашумит, то свист пробежит; огоньки чуть брезжуются и все тусклее да тусклее; а на Вдовинича выпустили игроков что ни самых удалцов. Никита все-таки не унывал; он прищурился то с правого глаза, то с левого, приглядывался и прицеливался – и сбил два кона дочиста. За третьим стало еще хуже: поднялась метель; ветер так и рвал, и крутил, и сдувал огоньки на сторону; свету не было и настолько, чтобы доброму человеку ложку мимо рта не пронести, а снег хлопьями так глаза и залепливал. Никита взял догадку: он левою рукою сделал себе кровельку над глазами, выглядывал, высматривал – и заприметил на кону черную бабку, к самому левому краю. Давай в нее бить: раз, два... а буря-то пуще злится, а гром так и трещит, что словно небо расседается, а молния так и сверкает сзади и с боков, и сманивает глаз на сторону, чтобы смигнул, а снег так и застилает глаза... Это еще цветики, а ягодки будут впереди. Два раза промахнулся наш Вдовинич: прилачился совсем, ему бы только ударить; ан тут гром и грянет, а молния да снег так и заслепят его очи ясные. За третьим разом показались ему разные страхи: то змеи горынычи, то полканы-богатыри с казачьими усами и конскими хвостами, то чуда-юда, железные зубы, то лешие, то водяные... ну, в добрый час молвить, в худой промолчать – вся нечисть подземная, вся тма крошечная. Никита оторвал клоч рукава, расщипал и заткнул себе по охлопку в оба уха, правый глаз зажал, левую руку свернул в трубку и приставил к левому глазу, чтоб ему не слышать никакого шума и не видеть ничего, кроме черной бабки. Тут он начал причитать в уме-разуме все посты и все заговенья, среды и пятницы, понедельники и честные сочельники, а родительскую субботу помянул чуть не трижды; навел на черную бабку глаз с левою рукою, прилачился правою, замахнулся, хватить – и вдруг что-то хряснуло, инда нашему Вдовиничу небо с овчинку показалось. Он со всех ног бросился к кону: глядит, а перед ним черная бабка лежит, сбита его метким молодецким ударом. Он за нее – и схватил в обе руки; а мертвецы к нему сыпнули всею гурьбою, а петухи как тут: «Кукареку!» – и не стало ни мертвецов, ни огоньков, заровнялись могилы, и на погосте наступила тишь да гладь да Божья благодать. Никита Вдовинич зажал черную бабку у себя под мышкой, остальные пометал в свое упряттище под часовней, поклонился еще однажды батюшкиной могилке, пришел домой и улегся на полатах. «Теперь, – смекал он, – вольно мне спать вплоть до вечера; а захочу поесть, так найду кусок полакомее да посытнее матушкиных ленивых щей, где крупинка за крупинкой не угоняется. Они уж и так мне бока промыли!»

Никита Вдовинич был крепок на слово: он спал богатырским сном вплоть до вечера. Матушка его, Улита Минеевна, не будила его и к обеду: намаялся-де, сердечушко, на стороже, третью ночь не спал. В сумерки Вдовинич проснулся, встал, встрепенулся, умылся, Богу помолился и опрометью вон из избы пустился; прибежал на огород, ударил бабкой оземь и приговаривал: «Бабка, бабка, черная лодыжка! Служила ты басурманскому колдуну Челу-

бею Змеулановичу ровно тридцать три года; теперь послужи мне, доброму молодцу: дай мне с начинкой пирог в сажень длиной, да в охват толщиной». Не успел он глазом сморгнуть, а уж перед ним лежал пирог в сажень длиной и в охват толщиной. «Ладно! – молвил Никита. – Дело-то так, да сладить-то как?» Пытался он разломить пирог, так не под силу, а целиком донести до избы – и того пуще. Думал-думал наш Вдовинич и вздумал: отыскал под навесом старые дровнишки, прикатил их в огород; опять беда: как поднять пирог на дровни? «Эх ты, моя нечесаная башка! Не разумна, хоть и велика! – вскрикнул Вдовинич, схватя свою буйную голову за кудри кольчатые и встряхнув их, как злая мачеха своего пасынка. – Ну что я стал в пень? Велико диво, как пирог снести! Вот побольше того, коли одному его съесть». Тут он, не разгадывая и не откладывая, ударил черною бабкой оземь, протвердил как зады свой заученный наговор: «Бабка, бабка, черная лодыжка! – и примолвил: – Взвали мне пирог на дровни». Пирог очутился на дровнях, а Никита впрягся в оглобли и ну тащить изо всех жил, да не тут-то было! *Тпру* не едет и *ну* не везет. Опять принялся он за черную бабку: «Помоги-де мне пирог в избу привезти» – и дровни покатались сами собою; Никита чуть успевал бежать, чтоб они ему в сугорбок пинков не надавали. Прикатились к дверям, а двери-то узеньки да низеньки; только ведь у нас не по-вашему, хоть тресни, а полезай: двери расступились, дровни вкатились и свалили пирог на дубовый стол, а сами тем же следом назад, на попятный двор, под навес, – и опять все стало по-старому, по-бывалому. И возговорил Никита Вдовинич своей матушке, Улите Минеевне: «Вот тебе, государыня матушка, гостинец от гостей торговых; кушай себе на здоровье». Улита Минеевна, увидя пирог, от радости руками всплеснула и голосом взвыла, словно покойницу свекровь хоронила. «Ах они мои батюшки, купчики-голубчики! Потешили меня, вдову горемычную! Пошли им, Господи, втрое того за их добродетель». Тотчас взяли топор, разрубили пирог на куски и принялись вдвоем уписывать; куда! И сотой доли съесть не могли. Никита наелся так, что инда пить ему захотелось. Вот он выбежал в присенок, ударил бабкой оземь и сказал: «Бабка, бабка, черная лодыжка! Служила ты басурманскому колдуну Челубею Змеулановичу ровно тридцать три года, теперь послужи мне, доброму молодцу: дай мне браги ушат, чтобы стало со днем на неделю, пусти в него красный ковш и поставь здесь в уголку». Махом проявился в углу ушат браги, полнехонек и с краями ровнехонек, а посередине плавал гоголем красный ковшик. Опять Никита сказал своей матушке, что это купцы дали ему за добрую сторожу, и Улита Минеевна так обрадовалась, что всех купцов чухломских чуть заживо в угодники не причла. «А куда же ты, мое дитятко, девал свои новые рукавицы да гривну денег? – спросила она у Никиты. – Аль потерял да потратил?» – «Нет, государыня матушка, не потерял, не потратил, а в теплое местечко попрятал». Тут он опять выскочил в присенок и хватил бабкой оземь: «Чтобы, дескать, уродились мне рукавицы новые строченные да денег семь алтын с деньгой». Все это поспело как за ухом почесать. Рукавицы новые строченные, на них коймы золотые тисненные, сами наделись на руки, а семь алтын с деньгой, в цветной калите шелку шемаханского, висели у Вдовинича за поясом. Опять матушка его, вдова горемычная Улита Минеевна, диву дивовалась и дарами любовалась, да молила Бога за своего сынка ненаглядного, который сам теперь стал ей кормильцем.

На другой день Улита Минеевна пошла звать старушонок-соседа да кумушек-голубушек попить даровыми пирогами да брагой; а они, дело домышленное, лакомы на то, что не на свой грош куплено: пили, ели, чуть не лопнули, а все еще пирога да браги осталось на добрую неделю.

Скоро сказка сказывается, не скоро дело делается. Наш Никита Вдовинич, черной бабкой оземь постукивая да того-другого, прочего попрашивая, как сыр в масле катался и рос не по дням, по часам. Прошло семь лет с походом, и он стал таким молодцом взрачным да ражим, что все на него заглядывались: лицо кругло и полно, что светел месяц, бело и румяно, что твое наливное яблочко; а сила у него проявилась такая, что с одного щелчка между рог быка убивал. Двор у него был как город, изба как терем, и в ней всякой рухляди да богатства,

что и в три года не счесть. Матушка его Улита Минеевна в одну ночь охнула, воздохнула да и ножки протянула, обкушавшись на именинах своего детища возлюбленного яств сахарных да опившись меду сладкого. И стал наш Никита Вдовинич сам себе старшим, сам себе хозяином, и вошел он в честь и славу великую, в те поры как Пошехонье поднялось войною на Чухлому. А той войне была такова вина: чухломский богатырь Куроцап Калинич напоил на молодецком разгулье пошехонского богатыря Анику Шибайловича сонным зельем да обрил ему половину головы, половину бороды и вытравил его заповедные луга своими конями богатырскими; вот и взорвало это пошехонцев, и вздумали они отсмеять насмешку чухломцам. Зашумела рать-сила несметная, началась битва кочережная, поднялась стрельба веретенная, наступили на твердыни крепкие, на жернова мукомольные. И взмолились чухломцы всею громадой Никите Вдовиничу, чтобы вступился за своих земляков-однокашников. Никита Вдовинич все дело разом порешил: как выехал он на борзом коне в полстяном колпаке да крикнул-гаркнул молодецким голосом, богатырским покриком на сильных могучих пошехонских витязей, Анику Шибайловича да Шелапая Селифонтьевича: «Что вы, мелкие сошки, сюда носы показали? Много ли вас и на одну руку мне? Куда вы годитесь? Вас бы только спаровать да черту подаровать!» Аника Шибайлович да Шелапай Селифонтьевич прогневались на такие речи обидные и бросились с двух сторон на Никиту Вдовинича; только он был не промах: одного взял за ус, другого за бороду и подбросил их выше лесу стоячего, ниже облака ходячего. Тут пошехонцы оробели, дрогнули, побежали и давай прятаться: кто в гору, кто в нору, а иные, поджав хвосты, в часты кусты.

В те поры жила-была в Чухломе дочь купецкая Макрида Макарьевна, красота ненаглядная; жила она в неге и в холе, в девичьем раздолье, пока батюшка ее не проторговался дочи-ста. Добрые молодцы по дням не едали и по ночам не сыпали, заглядевшись на ее очи соколиныя, на ее уста кармазинныя; красные девицы завидовали ее русской косе, девичьей красе да ее парчевым шубейкам и золотым повязкам; а старые старухи поговаривали, что она спесива, причудлива и своеобычлива, – в пологу спать не ляжет, в терему шить не сядет: в пологу-де спать душно, в терему шить скучно. Полюбилась нашему Никите Вдовиничу дочь купецкая Макрида Макарьевна, красота ненаглядная, заслал он свах к ее батюшке, и те свахи наговаривали столько добра о Никите Вдовиниче, а пуще о его житье-бытье и богатестве, что отец и мать Макриды Макарьевны, да и сама невеста, рады-радешеньки были такому жениху. Никите Вдовиничу не пиво варить, не меды сластить: все мигом уродилось; так веселым пирком да и за свадьбу. Вдовинич задал пир на весь мир; а после стал жить да поживать со своею молодой женой Макридою Макарьевной, красотой ненаглядною.

Скорая женитьба – видимый рок: наш Никита Вдовинич женился как на льду обломился. Солона пришлось ему жена, красавица ненаглядная; ни днем, ни ночью покоя не знай, все ей угождай. Уж ей ли не было неги и во всем потехи! Да правда, что прихотливой и сварливой бабе сам черт не брат. Никита Вдовинич, сказать не солгать, из рук не выпускал черной бабки; извелся совсем, швыряя ее оземь на женины прихоти. Все было не по Макриде Макарьевне: то дом тесен – ставь хоромы; то углы не красны – завесь их коврами узорчатыми; то посуда не любя – подавай золотую да серебряную; то наряды не к лицу – подавай парчи золотые да камки дорогие. А даровал им Бог детище желанное, сына Иванушку, – так чтобы колыбель была диковинная, столбы точеные, на них маковки позолоченные. Ну не то, так другое; а бедному Вдовиничу не было ни льготы, ни покоя.

Так бился он с годом трижды три года; не раз заносил он черную бабку, чтобы стукнуть оземь да и сказать: «Бабка, бабка, черная лодыжка! Унеси ты мою женушку в тартарары, во тму кромешную, чертям на беду, сатане на мученье» – да всякий раз у него руки опускались и язык прилипал: жаль ему было жены, красавицы ненаглядной, хотя она и мучила его с утра до вечера; а пуще жаль ему было детища желанного, сына Иванушки, чтоб он в сиротстве не натерпелся горя. Правду молвить, и сынок Иванушка пошел по батюшке да по дедушке: на

дело не горазд, а все бы ему гули да гули, все бы ему рыскать по улице да играть в бабки с соседними ребятами.

Вот под конец Никита Вдовинич совсем из сил выбился от причуд и свар жениных. Вышел он на широкий двор, ударил бабкой о сыру землю и приговаривал: «Бабка, бабка, черная лодыжка! Служила ты басурманскому колдуну Челубею Змеулановичу ровно тридцать три года; теперь послужи мне, доброму молодцу: чтоб у жены моей были полны ларцы золота и полны лари серебра; пусть ее тратит на что пожелает, только моего века не заедает. А мне чтоб было ровно на семь лет зелена вина да меду пьяного, запивать мое горе тяжкое!» – Сказано и сделано. Макрида Макарьевна почала без счету сыпать серебро и золото на свои затеи женские; а Никита Вдовинич с утра до вечера у себя в светлице посиживал, да хмельное потягивал, и втянулся так, что у него лицо раздулось, как волынка, глаза стали красны, как у вора, и от него несло сивухой, как из винной бочки. Ведомо и знаемо, что русский человек напивается от двух причин: на радости да с горя; а есть у нас добрые люди, у которых что день – то радость, что день – то горе, либо день при дне радость и горе с перемежкой. У Никиты же Вдовинича было все горе, да горе, да при горе горе. Ни о чем он не хлопотал, не заботился, на все смотрел спустя рукава. И то сказать, у горького пьяницы одна заботушка: напиться да выпасться, а после опохмелиться, чтобы снова напиться.

Женушка его ненаглядная, Макрида Макарьевна, тою порою творила свою волю и не думала о своем сожителе, а так про себя смекала: «Пусть его с пьянства околеет; мне же руки развяжет». Детищу его желанному, сынку Иванушке, исполнилось двенадцать годков и пошел тринадцатый; он по-прежнему не знал себе иного дела, кроме того чтоб воробьев поддирать да в бабки играть. И нашел он однажды в батюшкиной светлице под лавкой черную бабку, которую Никита Вдовинич спяна обронил, да и не спохватился: ведь пьяный свечи не поставит, а разве дюжину повалит. Иванушка рад был своей находке, побежал играть с соседними ребятами и все, что на кону ни стояло, как рукой подгрел.

Спустя малое время проявился в Чухломе черненький мальчик. Он был черен как жук, лукав как паук, а сказывался Четом-Нечетом, бобылем безродным. Такого доки в бабки играть еще и не видывали: всех ребят дочиста обобрал. Вот и взяла Иванушку зависть: «Что-де за выскочка, что всех обыгрывает? Посмотрю, как-то он потянется против моей черной бабки!» И схватились они играть вдвоем, рука на руку. Черненький мальчик, Чет-Нечет, бобыль безродный, сперва проиграл Иванушке кона два-три; а после вынул красную бабку с золотой насечкой, так хорошо изукрашену, что, как свет стоит, такой бабки еще и во сне не видывали и слыхом о ней не слыхивали. Красная бабка как стекло лоснится, ярким цветом в глаза мечется, золотою насечкой как жар горит и всякого на себя поглядеть манит; а черненький мальчик, Чет-Нечет, бобыль безродный, Иванушку ею призаривает и такие речи заговаривает: «Ну-ка ты, Иванушка, буйная головушка, синяя шапка! Посмотри, какова моя красная бабка? Уж не твоей черной чета! Выиграй-ка ее у меня, так будешь молодец и на все удалец; а не выиграешь – будешь мерзлый баран, обгорелый чурбан. Лих тебе не видать ее, как ушей своих!» Иванушка озлился, чуть бобылю в черные кудри не вцепился и так на него забрался: «Ах ты, смоляная рожа, цыганское отродье, материн сын, отцов пасынок! Тебе ль со мной тягаться? Я так тебя облуплю, что станут и куры смеяться». – «Ну, что будет, то будет, – молвил вполсмеха черненький мальчик, – ставь черную бабку, а я поставлю свою красную, да и померяемся, кому первому бить». «Изволь, коли тебе не жаль своей красной бабки!» – отвечал Иванушка. Только он не в пору расхвастался. Поставили бабки, черную да красную, стали меряться на палочке – верх остался за черненьким мальчиком. Чет-Нечет, бобыль безродный, прилачился, хватить – и снес обе бабки. «Моя!» – крикнул он таким голосом, что в ушах задребезжало, кинулся вперед, схватил черную – и мигом не стало ни его, ни черной, ни красной бабки. Иванушка с горя побрел домой; смотрит: отцовских хором как не бывало, а наместо их стоит лачужка, чуть углы держатся, и от ветра пошатывается. Матушка его Макрида Макарьевна сидит да плачет, голо-

сом воеет, жалобно причитает, уж не в золотой парче, не в дорогой камке, а просто-запросто в крестьянском сарафане; батюшка лежит пьяный под лавкою в смуром кафтане. Оглянулся Иванушка на себя – и на нем лохмотье да лапти! Не знал он, не ведал, отчего такая злая доля приключилась? А вся беда неминуемая приключилась оттого, что он проиграл заветную черную бабку, а выиграл ее чертенок, который подослан был старшими чертями да проклятыми колдунами и сказывался Четом-Нечетом, бобылем безродным. Так-то от лукавого сатаны, да от сумбурщицы жены, да от сынка дурака, да от своего хмеля беспутного, беспросыпного Никита Вдовинич потерял все: и счастье, и богатство, и людской почет, да и сам кончил свои живот, ни дать ни взять, как его батюшка, в кабаке под лавкой. Макрида Макарьевна чуть сама на себя руки не наложила и с горя да с бедности исчахла да изныла; а сынок их Иванушка пошел по миру с котомкой за то, что в пору да вовремя не набрался ума-разума.

Вот вам сказка долгенька, а к ней присловье коротенько: избави Боже от злой жены, нерассудливой и причудливой, от пьянства и буянства, от глупых детей и от демонских сетей. Всяк эту сказку читай, смекай да себе на ус мотай.

1832

В. И. Даль. Сказка о Иване Молодом Сержанте, Удалой Голове, без роду, без племени, спроста без прозвища

Милым сестрам моим Павле и Александре

Сказка из похождений слагается, присказками красуется, небылицами минувшими отзывается, за былями буднишними не гоняется; а кто сказку мою слушать собирается, тот пусть на русские поговорки не прогневается, языка доморощенного не пугается; у меня сказочник в лаптях; по паркетам не шатывался, своды расписные, речи затейливые только по сказкам одним и знает. А кому сказка моя про царя Дадона Золотого Кошеля, про двенадцать князей его, про конюших, стольников, блюдолизов придворных, про Ивана Молодого Сержанта, Удалую Голову, спроста без прозвища, без роду, без племени, и прекрасную супругу его, девицу Катерину, не по нутру, не по нраву – тот садись за грамоты французские, переплеты сафьяновые, листы золотообрезные, читай бредни высокоумные! Счастливый путь ему на ахинеи, на баклуши заморские, не видать ему стороны затейливой как ушей своих; не видать и гуслей-самогудов: сами заводятся, сами пляшут, сами играют, сами песни поют; не видать и Дадона Золотого Кошеля, ни чудес невероятных, Иваном Молодым Сержантом создаваемых! А мы, люди темные, не за большим гоняемся, сказками потешаемся, с ведьмами, с чародеями якшаемся. В нашей сказке на всякого плясуна по погудке, про куму Соломону страсти-напасти, про нас со сватом смехи-потехи!

В некотором самодержавном царстве, что за тридевять земель, за тридесатым государством, жил-был царь Дадон Золотой Кошель. У этого царя было великое множество подвластных князей: князь Панкратий, князь Клим, князь Кондратий, князь Трофим, князь Игнатий, князь Евдоким, много других таких же и, сверх того, правдолюбивые, сердобольные министры, фельдмаршал Кашин, генерал Дюжин, губернатор граф Чихирь Пяташная Голова да строевого боевого войска Иван Молодой Сержант, Удалая Голова, без роду, без племени, спроста без прозвища. Его-то царь Дадон любил за верную службу, его и жаловал неоднократно большими чинами, деньгами, лентами первоклассными, златочеканными кавалериями, крестами, медалями и орденами. Таковая милость царская подвела его под зависть вельмож и бояр придворных, и пришли они в полном облачении своем к царю и, приняв слово, стали такую речь говорить: «За что, государь, изволишь жаловать Ивана Молодого Сержанта милостями-почестями своими царскими, осыпать благоволениями многократными наравне с твоими полководцами? Мы, не в похвальбу сказано, не в урок помянуто, мы, кажется, для тебя большего стоим; собираем с крестьян подати-оброки хорошие, живем не по-холопыи, хлебом-солью, пивом-медом угощаем и чествуем всякого, носим на себе чины и звания генеральские, которые на свете ценятся выше чина капральского».

Царь этот царствовал, как медведь в лесу дуги гнет: гнет – не парит, переломит – не тужит! Он, послушав правдолюбивых и сердобольных советников своих, приказал немедленно отобрать от Ивана Молодого Сержанта, Удалой Головы, без роду, без племени, спроста без прозвища, все документы царские, чины, ордена, златочеканные медали, и пошло ему опять жалованье солдатское простое, житье плохое, и стали со дня на день налегать на него более вельможи, бояре царские, стали клеветать, обносить, оговаривать. Подстреленного сокола и ворона носом долбит; свались только с ног, а за тычками дело не станет! Бился, бился наш Иван – какого добра еще дожидаться? Надувшись на пиво, его не выпьешь; глядя на лес, не вырастешь, а смотря на людей, богат не будешь. Задумал он наконец худое дело сделать, бежать из службы царской – земля государева не клином сошлась; беглому одна дорога, а погонщикам – сто; а поймают – воля Божья, суд царев: хуже худова не бывает, а здесь несдобровать.

Выждал он ночь потемнее, собрался и пошел куда глаза глядят, куда стопы понесут молодецкие!

Приятель наш нехорошо сделал, что сбежал, о том ни слова, но и то сказать, человек не скотина; терпит напраслину до поры до времени, а пошла брага через край, так и не сговоришь! Исподволь и ольху согнешь, а вкруте и вяз переломишь!

Не успел выйти Иван наш на первый перекресток, видит-встречает, глазам своим молодецким не доверяет, видит прекрасную девицу, стоит девица Катерина, что твоя красная малина! Разодетая, разубранная, как ряженая суженая! Она поклонилась обязательно, приветствовала милостиво и спросила с ласкою: кто он таков, куда и зачем идет или послан, по своему ли желанью или по чьему приказанью? «Не торопись к худу, Иван Молодой Сержант, Удалая ты Голова, без роду, без племени, спроста без прозвища, – продолжала она, – а держись блага – послушай ты моего девичьего разума глупого, будешь умнее умного; задумал ты худое дело делать: бежать из службы царской, не схоронишь ты концов в воду, выйдет через год со днем наружу грех твой, пропадет за побег вся служба твоя; подумай-ка ты лучше думу да воротись; не всем в изобилии, в раздолье жить припеваючи, белорыбицей по Волге-реке разгуливать; кто служит, тот и тужит; ложку меда, бочку дегтю – не съешь горького, не поешь и сладкого; не смазав дегтем, не поедешь и по брагу! Мало славы служить из одной корысти; нет, Иван, послужи-ка ты своему царю заморскому, под оговором, под клеветой, верою и правдою, как служат на Руси, из одной ревности да чести! Воротись, Иван Молодой Сержант, да женись ты на мне, так мы бы с тобою и стали жить да поживать; любишь – так скажи, а не любишь – откажи! Запрос в карман не лезет».

Есть притча короче носа птичья: жениться – не лапоть надеть, а одни лапти плетутся без меры, да на всякую ногу приходятся! И истинно; жена не гусли: поигравши, на стенку не повесишь, а с кем под венец, с тем и в могилу, – приглядишься, приноровишься, а потом женись; примерь десять раз, а отрежь один раз; на горячей кляче жениться не ездят! Все это и справедливо, и хорошо, но иногда дело как будто бы наперед уже слажено, а суженого и на кривых оглоблях не объедешь! Так и тут случилось; капрал наш солдат, человек сговорчивый, подал руку девице Катерине – вот то-то свахи наши ахнут: что за некрещеная земля, где сговор мог состояться без них!!! – подал руку ей, она ему надела на перст колечко обручальное даровое-заветное, дарующее силу и крепость, и неиссякающее терпение, вымолвила пригодное слово, и чета наша идет не идет, летит не летит, а до заутрени очутились они в первопрестольном граде своем, снарядились и обвенчались, а с рассветом встали молодыми супругами.

И вдруг, отколе чего взялось, пошли Ивану опять прежняя милость царская, чины, и деньги, и лестные награды, и зажил он припеваючи домовитым хозяином, как ярославский мужик. И снова стал лукавый мучить завистью правдолюбивых, сердобольных министров царских, фельдмаршала Кашина, генерала Дюжина, губернатора графа Чихиря Пяташную Голову, и предложили они единодушно царю, чтобы Иван Молодой Сержант по крайней мере заслужил службою милость царскую, показал бы на деле рысь свою утиную лапчатую. Вследствие сего Иван Молодой Сержант наутро вычистился, белье натер человеческим мясом⁵, брюки велел жене вымыть и выкатать, на себе высушил – словом, снарядился, как на ординарцы, и явился ко двору. Царь Дадон, трепнув его по плечу, вызывал службу служить. «Рад стараться», – отвечал Иван. «Чтобы ты мне, – продолжал царь, – за один день, за одну ночь, и всего за одни сутки сосчитал, сколько сот, тысяч или миллионов зерен пшеницы в трех больших амбарах моих, и с рассветом доложил мне об этом. Если сочтешь верно, пойдет снова милость царская пуще прежнего; а нет, так казнить, повинную голову рубить!»

⁵ Белье у солдата – что белится, белая кожаная амуниция. Белят ее составом из белой глины, а натирается она и вылащивается голою рукою.

Взяла кручинушка Ивана Молодого Сержанта, Удалую Голову, без рода, без племени, спроста без прозвища, повесил он головушку на правую сторонушку, пришел, горемычный, домой. «О чем тужишь-горюешь, очи солдатские потупляешь или горе старое мыкаешь-понимаешь?» – так спросила его благоверная супруга девица Катерина. «Всевозлюбленная и прекрасная дражайшая сожительница моя, – держал ответ Иван Молодой Сержант, – не бесчести в загонях добра молодца, загоняешь и волка, так будет овца! Как мне не тужить, не горевать, когда царь Дадон, слушая царедворцев своих, велит мне службу служить непомерную, велит мне за один день, за одну ночь, и всего-то русским счетом за одни сутки, счесть, сколько в трех больших амбарах его царских сот, тысяч или миллионов зерен пшеницы; сочту, так пойдет милость царская, а нет, так казнить, повинную голову рубить!» – «Эх, Иван Молодой Сержант, Удалая ты Голова, дражайший сожитель, супруг мой! Это не служба, а службишка, а служба будет впереди! Ложись-ка ты спать, утро вечера мудренее, – завтра встанем да, умывшись и помолившись, подумаем», – так рекла прекрасная Катерина; напоила, накормила его, и спать положила, и прибаюкивала песенкою:

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.